

Л. И. ДОБЫЧИН

ШУРКИНА РОДНЯ

Публикация А. Ф. Лапченко

Леонид Иванович Добычин (1894—1936) успел написать не слишком много. При жизни вышли два небольших сборника рассказов — «Встречи с Лиз» (1927) и «Портрет» (1931), а в 1935 г. была опубликована повесть «Город Эн». Короткие рассказы не принесли Добычину славы или известности, скорее наоборот: они создали ему, как и Зошенко, репутацию подозрительного литератора. Повесть «Город Эн» вскоре после выхода была подвергнута суровой критике, автора объявили формалистом. После общего собрания в Доме ленинградских писателей, на котором Добычин стал главной жертвой обличительных выступлений — дело происходило вскоре после известной статьи «Сумбур вместо музыки» («Правда» от 28 января 1936 г.), — он бесследно исчез. Предполагают, что он покончил самоубийством. С тех пор на протяжении многих десятилетий имя Добычина не упоминалось и произведения его не печатались. Только в 70-е годы знавшим его В. А. Каверину, Г. С. Гору, А. Н. Рахманову удалось сказать несколько добрых слов о несправедливо забытом писателе, «превосходном мастере», а с конца 80-х годов в различных изданиях начинают появляться его произведения.¹

¹ Произведения Л. Добычина и материалы о нем см.: Звезда. 1971. № 9; Огонек. 1987. № 12; Литературное обозрение. 1988. № 3; Сельская молодежь. 1988. № 4; Ленинградская правда. 1988. 21 августа; Родник. 1988. № 8—11; Звезда. 1989. № 9; *Добычин Леонид*. Город Эн. Рассказы. М., 1989; Расколдованный круг. Василий Андреев. Николай Баршев. Леонид Добычин. Л., 1990; Новый мир. 1990. № 7. С. 240—243; *Ерофеев Виктор*. В лабиринте проклятых вопросов. М., 1990. С. 139—160.

О времени и об условиях создания публикуемой повести «Шуркина родня» известно немного. М. Чуковская пишет, что после выхода «Города Эн» Л. Добычин «задумал большую повесть о глухой деревне, о мужиках», закончить которую не успел.² Она же сообщает, что Добычин читал куски из этой новой своей повести, в которой «описывал он тупую и дикую деревенскую жизнь».³ Этот факт подтверждается запиской Добычина, адресованной ленинградскому литературоведу А. Л. Григорьеву, с которым писатель был дружен в последние месяцы своей жизни и которому он оставил свои рукописи: «Тов. Григорьев, приходите ко мне, пожалуйста, тридцатого в восемь часов и послушайте чтение, в которое я перед Вами и еще двумя-тремя человеками (Гор) думаю пуститься. Добычин». На обороте записки пояснение А. Л. Григорьева: «Это начало нашего знакомства — осень 1935 года. Затем последовали четыре встречи. Л. И. приходил ко мне по воскресеньям, я уговаривал его не падать духом, предлагал длительную материальную поддержку. Весной 1936 года, накануне своего самоубийства, он в мое отсутствие оставил мне рукописи и фотографию».⁴

Можно предполагать, что повесть создавалась в промежутке между 1934 и 1936 гг. В 1934 г. Добычин поселился окончательно в Ленинграде и познакомился с соседом по квартире, рабочим из бывших беспризорников — Александром Павловичем Дроздовым. Одиноким Добычин привязался к нему, в разговорах со знакомыми и в письмах он часто называл его Шуркой. Единственный рассказ писателя о деревне — «Дикие», в котором просматриваются параллели с повестью «Шуркина родня», подписан фамилиями Добычина и Дроздова. По-видимому, А. П. Дроздов (Шурка) и стал прототипом последнего произведения писателя.

Действие повести Добычина происходит в пристанционном поселке неподалеку от Самары в период между двумя войнами — первой мировой и гражданской. Главному герою, деревенскому мальчику Шурке, 4 или 5 лет. Среда, изображенная писателем, не совсем крестьянская: многочисленные родственники Шурки — «маргиналы», выходцы из деревни, пристроившиеся к какому-нибудь ремеслу или мелкой службе. Но весь этот полукрестьянский пролетариат сохраняет все признаки «идиотизма деревенской жизни». В 20—30-е годы, в пору целенаправленного уничтожения крес-

² Чуковская М. Одиночество // Огонек. 1987. № 12. С. 12.

³ Там же.

⁴ ИРАИ, р. I, оп. 6. Пушкинский Дом приносит глубочайшую благодарность А. Л. Григорьеву, передавшему рукописи Л. И. Добычина в архив ИРАИ.

тьянства, этот акцент на «идиотизме» был особенно актуальным, изображение деревни в самых мрачных тонах поощрялось официально, и Добычин следовал уже прочно установившейся традиции. Однако действие в повести захватывает уже советский период, и эта традиция требовала героя, воодушевленного пафосом революционного обновления. Мужиков, осознавших свою беспросветную жизнь и связывающих с революцией надежды на освобождение от лишений и темноты, каких изображали А. Неверов, Вс. Иванов, Л. Сейфуллина, в повести Л. Добычина нет. Прозой Л. Сейфуллиной, впрочем, он одно время увлекался, хотя и относился к писательнице не без иронии: «Я ее очень люблю. В особенности — за перспективы».⁵ Смысл этой оценки становится ясным из другого высказывания: «...одно высокопоставленное лицо учило меня приобретению перспектив. Под перспективами оно подразумевало „не одно же плохое, есть хорошее...“»⁶ Скепсис писателя в отношении перспектив был обусловлен не политическими причинами, в чем его подозревали и даже прямо обвиняли критики. Он был, скорее, философского свойства — Добычин слишком хорошо знал натуру человека, чтобы надеяться на ускоренную «перековку сознания». Обывательская стихия неукротима — таков смысл всех его рассказов, — она опошляет революционные лозунги, приспособливает их для своих мелких нужд, порождая новые извращенные представления о жизни и сами ее формы.

Л. Добычин был блестящим мастером иронического повествования, умевшим уловить и немногими стилистическими средствами выразить проявления жизни в ее неожиданных, абсурдных формах: «Кандидат на дьяконскую должность, в галифе, ораторствовал. „Я из пролетарского происхождения“, — восклицал он».⁷ Не было ничего удивительного в том, что рецензия О. Резника на второй сборник рассказов Л. Добычина называлась «Позорная книга».⁸ Однако дело заключалось не столько в разладе с революционной эпохой, намеренном ее очернении, а в особенностях мироощущения писателя; это показала автобиографическая повесть «Город Эн», созданная на дореволюционном материале и вышедшая в 1935 г. Дореволюционное провинциальное мещанство изображено в ней с той же

⁵ Цит. по: *Бахтин В.* Судьба писателя Л. Добычина // *Звезда.* 1989. № 9. С. 178.

⁶ Там же. С. 177.

⁷ Там же. С. 108.

⁸ *Литературная газета.* 1931. № 10.

ироничной беспощадностью, что и послереволюционное, советское: те же неизменные глупость, лицемерие, ханжество, мелкотравчатость и бессмысленность повседневного обывательского существования, тот же, в конечном счете, абсурд. Эту особенность творческой индивидуальности Л. Добычина — видеть жизнь в абсурдных, бессмысленных проявлениях — пронизательно заметил Г. Адамович, прочитавший повесть «Город Эн» в эмиграции и отозвавшийся на нее рецензией в парижской газете «Последние новости»: „Город Эн“ — книга глубоко издевательская, порой напоминающая Щедрина резкостью и отчетливостью сатиры. По форме — это дневник ребенка школьного возраста, точно и тщательно рассказывающего обо всем, что происходит вокруг него <...> А бессмыслица, отраженная в дневнике, так чудовищна, так грандиозна, что вся повесть приобретает фантастический оттенок: забываешь бытовые детали, читаешь как сказку <...>

Самый склад ума Добычина таков, что видит он только нелепое и находит вполне верные, вполне свои слова лишь тогда, когда можно презрительно усмехнуться. У автора „Города Эн“, как и у Щедрина, смех идет дальше непосредственного предмета сатиры и подрывает нечто большее, чем данный общественный строй: яд проникает в общее жизнеощущение, ирония разъедает все». В этой же рецензии Г. Адамович предсказывал драматический характер взаимоотношений писателя с литературой социалистического реализма: «У Добычина мифистофельский душок обращен вовсе не на одно только прошлое, и если бы подвернулась ему под руки действительность советская, он, конечно, и ее изобразил бы так, что камня на камне не осталось бы <...> и признаться, это-то и уменьшает нашу надежду прочесть в скором времени книгу Добычина на современные русские темы».⁹

Пророчество Г. Адамовича сбылось — после «Города Эн» Л. Добычина уже не печатали, хотя он и пытался предлагать «Шуркину родню» двум или трем журналам. Теперь, издав далеко, хорошо видно, что наивно было в 1936 г. надеяться опубликовать произведение так несозвучное эпохе великих строек и официально культивируемого энтузиазма.

Форма повествования «Шуркиной родни», некоторые ее фабульные ходы и мотивы, открытый финал заставляют вспомнить о «Степи» Чехова. Изображение всего окружающего в добычинской повести — природы, людей, реалий — максимально приближено к восприятию героя, дано как бы изнутри примитивного сознания: «Телега погромыживала. Ноги, свешенные

⁹ Цит. по: *Тименик Р.* О городе Эн, его изобразителе и о несбывшемся пророчестве // *Родник.* 1988. № 11. С. 80.

вниз, покачивались. Около дороги стоял лес. Попахивало свежими вениками. Пешеходы, перекинув башмаки через плечо, шли сбоку по тропинке. Шурка их оглядывал, прикидывая, что с них можно снять, если убить их». Кормильцу семьи, промышляющему воровством и мародерством, потенциальному убийце Шурке не исполнилось еще девяти лет, но изображен он как взрослый. По своим повадкам, замашкам, житейской озабоченности — он взрослый человек, и весь его немалый жестокий опыт — тоже совсем не детский. В этом не было никакой условности или преувеличения. М. Осоргин в романе «Сивцев вражек» свидетельствует: «Была тяжела в тот год (1919. — А. Л.) жизнь, и не любил человек человека. Женщины перестали рожать, дети-пяtilетки считались и были взрослыми». ¹⁰ Уроки жестокости, преподанные взрослыми, легко ложатся на детскую душу. Шурка совершает самые гнусные поступки и помышляет об убийстве так же бездумно, как девочка Настя повторяет в «Котловане» А. Платонова: «Кулаков надо убивать!».

Л. Добычину не было нужды особенно задумываться над вопросом: кто виноват в захлестнувшей страну детской преступности и беспризорности? В рассказе Л. Сейфуллиной «Правонарушители» — одном из лучших рассказов в советской литературе на эту тему — есть эпизод о детях, которые «за стеной кладбищенской в губчека и в расстрел играли <...> Польку с Анюткой расстрелять водили <...> В звонких детских криках не было ни кощунства, ни жути, ни гнева. Они в простоте жизнь больших воспроизводили». ¹¹

Повесть названа «Шуркина родня». Каждый из этой родни словом или делом заронил в Шуркину душу зло, с каждым у него в чем-нибудь дурном душевная переключка. О Егорке, плеснувшем в морельне чернилами «в харю» старушке, Шурка с гордостью и восхищением говорит деду: «Он наш родственник».

Когда дед Мандриков рассказывает о разграблении усадьбы генеральши Канатчиковой, мать Шурки реагирует в соответствии с духом времени, не сомневаясь в естественности и законности происходящего. Присутствующий же при этом разговоре Шурка соображает, что можно было бы снять с самого Мандрикова, если его убить (он «соображает» так обо всех людях, которые ему встречаются). Так лозунг о грабеже награбленного, деморали-

¹⁰ Осоргин М. Сивцев вражек // Урал. 1989. № 7. С. 74.

¹¹ Сейфуллина Л. Повести. М., 1984. С. 57.

зую старшие поколения, трансформируется в сознании младшего в дозволение на обычную уголовщину. Но когда он повторяет под одобрение родственников фразу о том, что старуху Диеспериху «за ее халатность надо ставить к стенке», то это у него переключка уже не только с родственниками, а с эпохой. Рассказывая о детских играх в расстрел, Л. Сейфуллина надеялась на то, что дети «новую игру еще придумают, эту забудут». Л. Добычин, похоже, не обольщался на этот счет и, может быть, поэтому снял первоначальное заглавие повести: «Благополучный конец». Действительность не оставляла надежды на благополучный конец. Однако беспощадный к своим героям писатель, изображая детей, всегда находил прием, позволяющий оправдать маленького героя, приподнять его над средой; очень часто повествование о детях у него лирически окрашено. В повесть введен распространенный в рассказах о детях мотив разбойничества (он есть, например, в «Степи» Чехова и в «Детстве» Горького). Воруя и мародерствуя по нужде, Шурка не лишен и романтических представлений об этом промысле, для него это отчасти игра. Отправляя своего героя в жизнь «разбойничать», писатель как бы оставлял все же надежду на то, что будущее «разбойничество» — только романтическая мечта о вольной жизни в красивом, случайно увиденном в кино, городе.

Текст повести печатается по рукописи, хранящейся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (р. 1, оп. 6, № 379). Рукопись на 76 листах, из которых 43 листа — второй экземпляр машинописной закладки с незначительной правкой, остальное — беловой автограф.

Л. И. Добычин гораздо чаще, чем это принято, расставлял ударения над словами в текстах своих рукописей. Делал он это по разным причинам: чтобы избежать двусмысленности, подчеркнуть интонационный рисунок фразы, особенности местного или индивидуального произношения. В связи с этим при публикации ударения в основном сохранены.

ШУРКИНА РОДНЯ

1

Телега со скарбом подъехала к домику. Он был бревенчатый, крытый железом. К дороге он был обращен тремя окнами. Дверь и два окна были сзади. Двор не был ничем огорожен.

Хозяйка, которая шла за телегой, шагнула еще раз и, очутившись рядом с возом, посадила с него шестилетнюю девочку и мальчугана лет трех. Шурка, средний, сам спрыгнул.

Явились мальчишки откуда-то, расположились и стали глазеть. На крылечках двух соседних домов появилось по женщине.

— Сбегайте, кто-нибудь, дети, — сказала приезжая, — и попросите сюда господина Акимочкина.

Дожидаюсь его, она села с детьми на завалинку. Возчик отвязал от телеги ведерко. Достав из колодца воды, он дал лошади пить. Он свернул «козью ножку». Махоркой завоняло в свежем воздухе.

Пыльные, из придорожной канавы торчали репейники. Поле с коротенькой бурой щетиной тянулось до леса. Местами оно было серое от наугины. Казалось, что на нем лежит иней.

Лес был верстах в трех с половиной. Недавно за него село солнце, и небо над ним еще было слегка желтоватое.

Виден был верх колокольни за лесом, и крест одним краем блестел на ней. Черная, около колокольни видна была узенькая заводская труба.

Разрезая лес вдоль, показался вдруг и стал быстро бежать белый дым. Поезд вынесся и застучал, приближаясь.

Извозник сказал, что дорога, по которой идет этот поезд, зовется здесь «веткой», а сам этот поезд — «кукушкой». Он возит со станции к сахарному.

Мальчуганы, ходившие за господином Акимочкиным, прибежали, и скоро стал виден он сам.

Он шагал, держась прямо. Он был невысокий и черный, с железнодорожными пуговицами.

Дойдя, он приставил одну свою ногу к другой, как солдат.

— Добрый вечер, — сказал он.

Посылавшая за ним женщина встала. Он был ее брат. У обоих у них были красные щеки, срастающиеся на переносице брови и рот, в углах загнутый вверх.

Акимочкин отворил принесенным с собой ключом двери, и в дом внесли вещи.

В нем были две комнаты: «кухня» и «зал». Стены зала побелены были мелом. Пол в нем был досчатый, покрашенный. Дети, восхищенные, стали валяться.

Их мать, отвернувшись, достала платок из-за пазухи и, развязав его, вынула деньги и расплатилась с извозчиком.

Он постоял и спросил, нет ли «синенького»,¹ и ему нацедили в стакан через корку.

Потом нацедили себе, и Акимочкин, опрокинув, пошел.

— Ну, пока поживите, — сказал он, как будто бы этот дом был его.

На пороге столкнулась с ним гостья, толстуха, кума, машинистиха, родом литовка. Она была низенькая и пыхла. Одета она была в пышное платье с прошивками.

Нацеловавшись, она поцупала детей, и хозяйка, цедя через хлеб, налила ей полчашки. Она проглотила. Лицо у нее стало масляным.

Обе довольные, они напоили детей кипятком и, постлав на полу, уложили их.

Вбили три гвоздика в разных местах и повесили зеркальце в рамке, иконку и лампочку без абажура, к которой был сзади приделан рефлекторчик из гофрированной жести.

Потом ее сняли, зажгли, осмотрели при ее свете кровать и, обмыв ее и протерев керосином, расставили.

Гостья затем пожелала помочь еще разобрать сундучок. Он обит был брусничного цвета слядой и полосками жести. Замок у него открывался с секретом.

Когда дошло дело до двух фотографий, она поднесла их к огню и одну за другой, отдавая от глаз и опять приближая к глазам, с интересом рассматривала.

На одной была надпись «На память о браке моем сочетании», а на другой «В день отъезда на фронт».

Похвалив их за сходство, литовка, печальная, потрясла головой и вздохнула.

— А если бы, — предположила она, — он служил на железной, его бы не взяли.

Хозяйка опустила тогда на кровать. Там она, утираясь платочком с деньгами, повсхлипывала.

Она стала потом проклинать генеральшу Канатчикову, у которой в имении ее муж состоял в писарях.

— Не наймись он туда, — говорила она, — он бы, может быть, был на железной.

Расстроенная, она процедила оставшийся синенький и допила его с гостьей. Их души раскрылись, и женщины подоодвинулись ближе друг к другу.

Они улыбались приятно и слушали, как в другом конце комнаты дети сонят.

— Нет, — задумчивая, глядя в сторону лампочки, заговорила мечтательно гостыя. — Что-что, а железнодорожное дело — святое. Какое подспорье, что служащим предоставляют хотя бы, например, даровые билеты.

Счастливая, стала она вспоминать, как в Аральске она была за усачом,² а в Иркутске — за хлебом. В Крым съездила и посмотрела на Черное море. Из Тулы неделю назад привезла самовар, а теперь собирается в Сызрань за яблоками.

Уходя, она вдруг повернулась. Борясь с нерешительностью, потупляющаяся и доброжелательная, она остановилась в дверях.

— И не трудно вам так, — сострадающая, пронизательно глядя, спросила она, — как вдове, без мужнины?

2

Поев привезенного вчера с собой хлеба, все вышли на улицу. Мать заперла на ключ дом и отправилась, приказав дожидаться ее и никуда не ходить, на базар.

Дети радовались, что остались одни на свободе. Они покричали «кукушке» «ку-ку» и, дразня ее, стали скакать и плясать. Поваясь на дорогу, они хохотали. Потом они стали вздывать пыль ногами. Набрав ее в горсти, они ее сыпали себе на голову.

Из соседнего дома к ним вышел мальчишка в поярковой шляпе. Они окружили его. Он сказал, что отец у него земледелец, Василий Иванович, и что с другой стороны, где на крыше стоит жестяной петушок, живет «главный». Когда ему нужно на станцию вечером, он зажигает фонарь и несет в руке. Дочери его, девке, пять лет, и ее зовут Манькой. Жена его один раз отхватила себе дверью полуха. Работу у него в доме делает теща. Индюшек он держит зимой в утепленном сарайчике. В поле их водит пастись сучка Джек.

Он сыграл на сопелке, достав ее из-за рубахи, и спел интересную песенку. Дети такой не слышали до этого:

Пора бабушке вставать.
Накормила,
На дубочек посадила.
Дуб, сломися,
Другой, народися.
Татарки,
Хохлушки,
Берите по палке.
Там мост мостять,
Там жеребцов крестять.

Он рассказал им еще, что его зовут Яшкой, и что из мест, где война, едут беженцы, и что когда они будут здесь жить, то парнишка их будет ходить к нему.

Многое из того, что он тут говорил, сразу же и подтвердилось. Индюшка прошла с индюшатами, сопровождаемая сучкой. К изгороди подбежала из сада девчонка. Старуха, поставив ведро, догнала ее и оттащила, схватив за подол.

— Говорил я,— сказал тогда Яшка, и слушатели, изумленные, захохотали.

Их мать в это время шагала, помахивая на себя для прохлады платочком. Она краем глаза поглядывала на свое отражение в окнах. На ней была черная кружевная косынка и бусы из коралловых шариков. Юбка и кофта на ней были синие, новенькие, еще ни разу не стиранные и блестящие.

Улицы не изменились с тех пор, как она, еще маленькая, приходила сюда из деревни.

По-прежнему чередовались с заборами одноэтажные домики, были видны впереди каланча и украшенная синей маковкой и золотым крестом колокольня.

На тех же местах были «Чайная», «Зало для стрижки», «Плиссе и гофре», и такие же толстые люди смотрели с портретиков, выставленных за стеклом у фотографа.

Так же как и в то время, пыля на ходу, в камилавке и в валенках, брел без дороги отец Михаил и раскачивался, как медведь в балагане на ярмарке.

— Дунька Акимочкина,— узнавали ее и подходили к ней люди. Другие, воспитанные, говорили ей так: — Евдокия Матвеевна.

Все ее знали девчонкой еще, и никто ее не называл по фамилии мужа — Гребенщиковой.

Ей рассказывали между прочим, присев к ней на лавку, что Ванька Акимочкин, брат ее, в Преображенье был пьян. Он хвастался у церкви и возле ларьков против станции, что он может Дуньку впустить, может выгнать, что дом не ее, а его, потому что он сам его ставил.

Взволнованная, она всем возражала на этом, что муж ее несколько лет понемногу давал Ваньке денежки, чтобы он закупал не спеша матерьял, а что Ванька сам строил, так это потому, что он плотник (железнодорожником сделался только во время войны), и за это ему шла часть платы, которую получали от Губочкиных, квартирантов.

— Вам надо управы искать на него,— говорили ей. Надо бумагу составить: «До слуха до моего, мол, дошло» и — подать куда следует.

Несколько дрог на железном ходу, запряженных лошадаками, к мордам которых подвешены были дерюжные торбы, стояло у почты. Под липой сидели на пыльной траве их хозяева и бормотали, читая в тени «донесения главнокомандующего».

Гончарных дел мастер дед Мандриков тоже был здесь. Он жил в той же деревне, где жил и Авдотьин отец, и Авдотья обрадовалась.

— Дед,— сказала она, подходя: — вам богатому быть: не узнала я вас. Извините меня уж .

Она посмеялась немпожечко и подала деду руку. Свой воз он оставил у Бондарихи, на заезжем. Авдотья его проводила туда.

— Мне и детям моим,— говорила она,— угрожает опасность. Пускай бы папаня заехал сюда. Я сама бы слетала к нему, но нельзя: не с кем бросить детей.

Деду Мандрикову было очень приятно с ней. Он улыбался и был обходителен. Он подарил ей газету.

— Газета сегодня,— сказал он ей,— не лишена интереса: мы что-то около ста человек взяли в плен.

Ей пришло тогда в голову, что хорошо бы дать знать про все мужу. Она завернула на почту, купила конверт, лист бумаги. Почтмейстер пожаловался ей, что, вот, завели эти новые марки и руки с трудом поднимаются, чтобы класть штемпель на царский портрет.

«Благоверный супруг мой»,— писала она, когда дети ее улеглись: «Я одна без вас. Люди жалеют меня и говорят мне, что я — как вдова».

От письма она с лампочкой переходила к простенку, где было повешено зеркальце, и, посмотрясь, возвращалась.

Она написала про Ваньку и больше всего — про хорошую смерть квартирантки их, Губочкиной: как она обошла всех знакомых и всем говорила: «А знаете, я ведь сегодня умру», а вернувшись — переделалась, легла и послала за батюшкой. Губочкину без нее не хотелось здесь жить. После похорон он собрался и уехал в Самару.

3

Авдотьин отец подкатил к дому вечером двадцать девятого августа, в день «усекновения».³ Завтра у Шурки должны были быть именины, и деда просили остаться.

— Есть синенький-то? — спросил он, впряг мерина и поместил его на ночь в конюшне у отца Яшки Василия.

Дед был костлявый, борода у него была серенькая, стрижен он был под горшок. Он ходил в картузе и клеенчатой куртке.

Он снял сапоги и остался босой. Чтобы дети не трогали возжи и кнут, он их спрятал на печку.

На улице было тепло, и Авдотья с отцом, вышив синенького и задув в доме лампочку, вышли во двор. Они сели на дроги, и, скрючась, беседовали.

Подымался и утихал лай собак. То далёко, то близко гудели иногда паровозы. «Кукушка», проносясь то туда, то назад, тарыхтела.

В конюшне Василия лошади переступали. Звезда иногда отрывалась и падала.

Дочь рассказала отцу, как, съезжая со двора генеральши Канатчиковой, продала свою Катьку, корову, и как трудно жить. Рассказала про Ваньку.

Отец был красильщик и возчик. Он красил холсты в деревянях и возил бревна к пристаням.

— Слушай,— сказала Авдотья и высчитала, что, живя возле станции, он бы мог целиком перейти на извоз.

Они долго прикидывали, и уже петухи прокричали, когда они договорились, что дед переседет сюда.

Возбужденные, они наконец вошли в дом и прикончили синенькое, припасенное к завтрашнему именинному дню.

Под воздвижение дед переехал. На дрогах привез утром скарб, выпряг мерина и поскакал на нем за тарантасом и бабкой.

Она была низенькая, в ватной кофте, сужавшейся к талии, в черном с горошинками сарафане и в красных сапожках. Она перекрестилась, войдя, и, сняв пестрый платок, осталась в сатиновом черном чепце.

Дед и бабка устроились в кухне. Кровать у них была деревянная и нарисованы были на ней два кувшина и лев между ними.

В сенях дед развесил парадную сбрую. Она была с бляхами. Шурке при этом он дал держать возжи. Они были вязаные, шерстяные, зеленые.

Бабушка была из староверок. Иконы у нее были черные. В угол она поместила Иисуса Христа, а по бокам — богородицу и Иоанна Предтечу. Он был страшный, с крыльями, с чашей, а в чаше у него был ребенок.

Перед иконами бабка прибила к стенам треугольную полочку и прикрепила к ней ситцевую пелену, а на полку поставила круглую штучку с отверстиями и сказала, что это — кадиальница.

Стали жить. Дед поставил плетень перед домом, построил сарай, навозил дров, картошки, набил сеновал.

Иногда он в свободное время решал почитать и, открыв сундук, доставал из него очень толстую книгу, которая называлась так: «Правда дороже, чем золото».

Весь сундучок изнутри был оклеен картинками, и из него соблазнительно пахло. Для запаха дед в нем держал десять черных стручков. Говоря о них, он называл их «рожками».

Дед клал эту книгу на стол, придвигал табуретку. Очки у него были связаны сзади веревочкой. Он надевал их и начинал читать вслух.

Когда он сел читать в первый раз, все явились, заинтересованные, и расположились вокруг.

— Вот, — сказал он и прочел, что «не должно избегать встреч со священником».

— Некоторые, — читал он, — считают, что встречи сии предвещают несчастье. Но мысль сия внушена самим дьяволом.

Знатный московский купец, выйдя из дому, встретил в дверях поспешавшего на урок к его детям законоучителя и обратился назад.

— Не страшитесь, — ободрял его перей, — но идите, и я говорю вам, что вы получите прибыль.

И что же? Купец торговал в этот день с такой выгодой, как никогда.

На Кавказе один суеверный полковник, идя в поход, встретился с шедшим домой по совершении некоей требы просвитером и приказал своим воинам плюнуть. И тут же настигла его мусульманская пуля, и он испустил вскоре дух.

— Это верно, — сказала Авдотья. Ей вспомнилась встреча с отцом Михаилом и после него — с дедом Мандриковым. — Иногда и священника встретить — не к худу.

В базарные дни заезжали иногда к деду с бабкой какие-нибудь старики из деревни. Дед Мандриков тоже заглядывал по временам и докладывал, сколько мы опять человек взяли в плен.

Иногда, когда в церкви давали «листки из Почаева», он заходил почитать их вдвоем.

Начинались морозики. Кадку с водой из сеней внесли в кухню. «Зал» стали топить. Утром поле и соседние крыши совсем были белы. Плетень и примкнутый к нему рыжей цепью с замком тарантас по уграм были тоже как будто посыпаны солью.

Все меньше удавалось бывать на дворе. Было скучно. Томясь, дети часто принимались мечтать о парнишке из беженцев. Если бы он приходил к ним — как здорово было бы.

С Яшкой они теперь редко встречались. Встречаясь, справлялись, приходит ли этот парнишка к нему, но парнишка еще и к нему не ходил.

Раз вошел, постучась, сын Ивана Акимочкина Аверьян с сундучком и, поставив его, объявил, что пришел сюда жить.

— Не хочу, — сказал он, — покоряться.

Он начал ругать свою мачеху и рассказал, как она придирается, и как наушничает, и как отец его из-за нее в позапрошлом году до того избил Нюрку, которая была тоже от первой жены, что она и сейчас еще чахнет.

— Ну, что же, — сказала Авдотья, смотря на него. — Проживай себе.

Стлать она стала ему на полу, там, где детям, и дети, ложась, уговаривались, если кто-нибудь ночью проснется, будить остальных, чтобы слушать всем вместе, как он интересно хранит.

Через два дня на третий он ездил на соседнюю станцию, где он работал в депо, и дежурил. Когда его не было, дети вытаскивали из кармана его праздничной куртки конверт с фотографиями, на котором напечатано было: «Секретно. Мужчинам-любителям. Жаңр де Пари», и смотрели их.

4

У земледельца Василия Ивановича были похороны. Его Яшка с парнишкой из беженцев пробовал лед на пруду. Оказалось, лед был еще слабый, и Яшка, идя впереди, провалился.

Авдотья решила пойти проводить его. Бабка ее поддержала.

— Кого мы провожаем, — сказала она, — тот нас выйдет встречать на том свете.

Дед тоже решил идти.

— Скоро нам, — пояснил он, — придется просить господина Василия, чтобы он на зиму принял к себе тарантас.

И тогда все оделись и вышли и заперли дом на замок.

Было очень приятно на улице, тихо и солнечно. Точно весной, на дороге попрыгивали и почирикивали воробьи.

Долговязый, задрав вверх голову, на квартал впереди шагал главный. Жена семенила с ним, низенькая, и, оглядываясь, торопила девчонку, которая не поспевала.

— Рассчитывают, — сказал дед, — что весной будут брать у Василия плуг для картошки.

У станции вспомнили Ваньку, как он здесь бахвалился в преображение, и посмеялись, а переходя через линию, глянули на устроенное между главными запасными путями «отхожее место для пленных», и всем пришел в голову Мандриков.

Церковь стояла среди большой площади беленькая, ее крестик блестел и казалось, что небо, везде чуть голубенькое, над ней было совсем густо-синее.

Детям Авдотья дала по копейке для нищих, и нищие что-то пропели им и поклонились им в землю.

Ждать в церкви пришлось не особенно долго. Обедня уже отошла, началась пашихида, и дела отцу Михаилу с дьячком Виноградным было всего на каких-нибудь четверть часа.

Блестя лысиной, главный стоял впереди и крестился. Он был выше всех. А на мертвого дети старались не взглядывать. Желтый, с бумажной полоской на лбу, он пугал их. Никто не сказал бы, что он так недавно играл им на дудке и пел интересную песенку про жеребцов.

Хорошо показалось, когда опять вышли на улицу. Солнышко чуточку грело, и воздух подрагивал. В небе ни облачка не было. Кисочки ягод краснелись еще кое-где на верхушках рябин.

Подошла литовка, кума, и, пристроясь к Авдотье, болтала.

Она сообщила, что беженцы соорудили в порожнем амбаре костельчик и там очень мило. Ей есть теперь где помолиться по-своему. Пленные тоже заходят туда. Они очень воспитанные, и заметно, что с образованием.

Вдруг она стала таинственной и, оглянувшись, спросила:

— Ну, как Аверьян?

— Он такой, — ковырнув рукой в воздухе и сделав губы кружочком, сказала она, а Авдотья, отведя глаза, стала к чему-то присматриваться и спросила, какая это видна там железнодорожная линия.

— Это, — ответил ей дед, — идет ветка на Серные воды.

Он начал рассказывать, как он возил туда лес для железнодорожного доктора Марьяна, разбогатевшего тем, что он делал людей непригодными к воинской службе, и строившего в Серных водах два домика, чтобы сдавать их впаймы.

Этот день, необычно начавшийся, дед захотел и закончить по-праздничному. Когда стало темно, он зажег на кухне лампочку и, открыв сундучок, достал книгу.

Опять все пришли и уселись вокруг, чтобы слушать ее.

Дед раскрыл где пришлось и прочел им о женской неверности.

Случай с Пентефрием и похотливой женой его¹ всех позабавил, и все посмеялись над ней, что она была старенькая, а полюбила мальчишку. Авдотья же стала ее выгораживать и говорить, что ей, может быть, не было даже и тридцати еще лет.

— Ну, да что там, — сказала она, поднялась, погнала детей спать, напихала белья в два котла, залила и поставила в печь — мокнуть к завтрашней стирке.

Когда, отстиравшись, она собралась на ручей полоскать, к ней явилась литовка. Работы у нее было мало, и она могла сколько угодно расхаживать.

— В Рыме, — сказала она, входя, — быть и поща не видать. Я ходила сейчас к мадам главной и, вот, зашла к вам.

Очень шумная, расцеловав надевавшую наскоро на голову поверх чепчика черный платочек с горошками бабку, она обхватила Авдотью за талию и повлекла ее в «зал».

Там она рассказала о беженцах и о приехавшем с ними прекрасном ксендзе, хорошо исповедующем, а Авдотья еще раз с ней вспомнила, как хорошо умерла квартирантка.

— А где Аверьян? — оглядев потолок, словно думала, будто он может быть там, вдруг спросила литовка.

Она захотела узнать то и се, почему он работает на другой станции и что он делает дома.

Авдотья ответила ей, что там — «узел», проходят две разных дороги, и он — на другой, потому что на здешней — сам Ванька, и если бы тут же был и Аверьян, то это было бы слишком заметно и люди болтали бы, что, вот, оба они укрываются.

Дома же он очень мало бывает. Он любит играть на гармонии, а у него ее нет, и он ходит играть на чужой.

— Молодые всегда так, — сказала кума и, сжав губы, внушительная, посмотрела Авдотье в глаза.

Когда вынал уже первый снег и раскис, по грязище, ругаясь, пришла почтальонша Софроновна и принесла письмецо.

Это муж писал с фронта. Он хвастался, что не дает спуску немцам, предостерегал Дуньку от кавалеров и кланялся всем, а Ивану Акимочкину он просил передать, что, вернувшись, расправится с ним, как с германцем каким-нибудь.

Деду понравилось это письмо, и Авдотья ему подарила его. Он прочел его Мандрикову, когда тот завернул, и тот тоже одобрил.

У Мандрикова в этот день оказалась с собою ханжа. Все подвыпили. Дед стал плясать среди кухни, а бабка, которая не смогла встать со стула, сидела, ударяя в ладони, раскачивалась и, веселая, пела:

— Танцуй, Матвей,
Не жалея лаптей.

Тут в трубе стало выть. Когда выглянули, на дворе оказалась метель, и пришлось деду Мандрикову ночевать.

Перед сном поглядели портреты царей, фотографии разных церквей, напечатанные в книге «Правда дороже, чем золото», по-толковали о том, что Толстой, говорят, тоже пишет.

— Священные книги, — сказал дед Матвей, — сорок раз переписаны были, и в них получились ошибки. Там пишется о подставлении левой щеки, а Толстой отвечает на это: «Да так он тебя и совсем убьет».

Все посмеялись, а Мандриков рассказал, что есть книжка про храмы: они — свалка камня, слитие золота и серебра.

— Аверьян ужасно интересный, — удивлялись дети, когда он, подкравшись, схватывал кого-нибудь из них внезапно за подмышки и подбрасывал так высоко, что в животе щекотно становилось.

Иногда он брися, и тогда он оттонял всех, — или чинил примус. Иногда был весел, щелкал пальцами и напевал, притопывая:

Кекуок известный.
Танец повсеместный.

Часто ему снилось, что к нему подходит кто-то, наклоняется и трогает его, а он старается проснуться и не может.

Один раз после того, как он опять увидел это, дети посмеялись над ним и сказали ему, что это не сон, и что их мать на самом деле подходила к нему ночью и, присев возле него на корточки, дотрогивалась до него.

— Да, — согласилась она, — это, правда, было. Я хотела разбудить его, а то он очень уж храпел, да так и не решилась, как-то жаль стало его.

— Ну, в следующий раз решайся, не жалея, — сказал он, и она два раза после этого будила его.

Уже дело подходило к масленице, когда в дом явился вдруг однажды малый в серой куртке, перепачканный мукой, и подал письмо в конверте и сверток.

— Аверьян-Иванычу от Ольги Федоровны, — объявил он.

Сверток очень хорошо был упакован, а конверт был деловой, с печатной надписью: «Колониальные товары. Ф. Суконкин».

Аверьян работал в это время. Все ехидничали и с огромным интересом дожидались его.

Вечером он прибыл, наконец-то. Он прочел письмо. Он бросил его в печку и поохотал темного.

— Влюблена и хочет познакомиться, — сказал он.

Он поджег веревку спичкой и распаковал посылочку.

В ней оказалась булочка с изюмом, вроде кулича, обсахаренная, домашнего изготовления, и ликерчик в глиняной бутылочке.

— Ах, — крикнул Аверьян, схватил его и поднял всем напоказ, а дед расчувствовался и сказал, что это — из запаса.

Бабка же похнула булочку и, дернув носом, повертела головой.

— Не с приворотною ли травкой, — догадалась она.

Молча Аверьян тогда вскочил, схватил кухонный нож, резнул два раза и с куском, не надевая шапки, выбежал.

— Вот кятр, — удивился дед.

Авдотья посмеялась и, пожав плечами, убрала бумагу и веревочку.

Бумага эта оказалась объявлением — из тех, что перед рождеством расклеили на всех углах поселка: холодно в окнах — жертвуйте солдатам теплое белье. Пожертвования принимают доктор медицины Марьин и потомственный почетный гражданин Сукопкин.

Аверьян примчался торжествующий и, в высшей степени довольный, сообщил, что добежал до главного, покликнул сучку Джека, и она не стала этой буаки есть.

Тогда решили ежечь ее, чтобы ее не наготались дети или куры, а к ликерчику присели и, отправив детей спать, распили его.

Он был запечатан, и в него подсыпать ничего нельзя было, но бабушка сообразила, что бутылочка могла быть наговорена и, чтобы обезвредить ее, обкурила ее, положив из печки уголек в кадильницу.

Аверьян форсил и задавался, говорил, что Ольга выдра и свои припасы понараспу израсходовала.

Дед блаженствовал, потягивая, бабка хлопала глазами и закашливалась, а Авдотья, словно ошпынела больше всех, без толку похаживала и хватала Аверьяна за руки.

Когда же, перейдя из кухни в зал, они уселись по своим местам и начали укладываться, то она спросила, что бы он ответил, если бы не Ольга, а она любила его.

— Глуности какие, — сказал он. — Во-первых, ты мне родственная тетка, во-вторых — лет на десяток старше меня, и поэтому я не могу воспринимать подобных чувств.

«Ах, супруг мой», — вскоре после этого отправила Авдотья письмецо: «вы мне глаза кололи кавалерами. Но где они? Нет никого такого. Я одна. Нет никого, к кому бы можно было прислонить мне голову.

Жить трудно. Стирки стало меньше из-за этих беженцев — всё бабы ихние перебивают.

За детьми смотреть не успеваю. Они водятся бог знает с кем и пальцами изображают глуности.

Хотя бы вы на время отпросидесь сюда. Некоторые ведь приезжают на побывку».

На письмо это она не дождалась ответа. С почты ничего ей больше не было. Софроньевна два раза появлялась в их конце, но заходила во двор к главному.

Снег стаял. Куры сели выводить цыплят. Стреножив мерина, дед стал пускать его на дерн. Поле начали пахать.

У сучки Джека родились щенята, черные с коричневым, и дети бежали смотреть, как теща главного их тошит.

Тарагас опять стоял у дома — на цепи, с замком, как лодка, а за то, что земледелец принял его на зиму к себе в сарай, дед земледельцу отработывал.

В конце поста говели. Бабушка, идя к причастью, нарядилась в поясок с молитовкой. После причастья ели студень и весь день старались не грешить.

Под пасху были у заутрени. Полюбовались огоньками плошек. Посмотрели на ракеты и послушали хлопнушки перед церковью.

Какому-то мальчишке прострелило из хлопнушки ногу. Он орал, пока его не утащили, и, стоясь вокруг, все слушали.

Уже позеленели ивы над канавами, и мошки появились. С каждым днем все позже опускалось солнце и садилось все правей, все ближе к трубе сахарного.

Дети, подмигнув друг другу, стали удирать во двор и, прощмыгнув под окнами, шататься по поселку.

Иногда они отыскивали Аверьяна у чьего-нибудь забора. Он играл «На сопках» на чужой гармонке, а его друзья отплясывали посреди дороги с девками.

Тогда, взобравшись к Аверьяну на скамейку, дети оставались с ним и вместе возвращались в темноте.

Они цепенялись за него, старались не отстать и тоненькими голосками разговаривали с ним о его картинках для мужчин.

— Ой, — затыкая уши и оглядываясь, восклицал он и учил их говорить прилично, например — «нистон поставить».

6

«Дети наши пляжуются», — отправила Авдотья письмецо на фронт, — «и у меня нет сил что-нибудь сделать с ними.

Я возьмусь дунить их, а они меня комплиментируют подобными словами.

Тарагас у нас украли — кол тот вытащили из земли, к которому он был прикован.

Тарагас этот отец купил недавно, когда ехал к нам. Теперь и денежки пропали и доходы меньше сделалась.

Должно быть, мне придется, дорогой супруг мой, отослать двоих детей на время к вашему отцу и к вашей тетеньке — которая просвирня».

Снова она стала поджидать Софроновну и выбежала ей навстречу, когда она ошущью, читая на ходу, вошла во двор с открыточкой:

«Я девка», — сообщала о себе просвирня, — «и не очень смыслю в детищах. Но ладно, все равно, везите, я управлюсь как-нибудь».

С педельку еще медлили и наконец решились. Дед впряг в дроги мерина, набил травой мешок и положил его на дроги.

Все присели в кухне, встали и, подавленные, вышли. Дед уселся с девочкой. Перекрестились и, когда телега завернула за угол и стука ее колес не слышно больше стало, мялча возвратились в дом.

А к дому приближалась уже и опять несла письмо Софроновна.

— Вам пишут, не гуляют, — снисходительно сказала она.

Это свекор извещал Авдотью, что скоро соберется в отпуск и тогда придет и возьмет ребенка.

Письмецо это все очень похвалили, дед Матвей сказал, что почерк замечательный, Авдотья оживилась и еще раз рассказала, что отец ее мужа письмоводитель, потому что у него простуженные ноги и другой работы из-за этого он никакой не может выполнять.

И, как и каждый раз, и дед и бабка с интересом это выслушали, покачали головой и, щелкнув по два раза языком, одобрили.

Он прибыл, и ему гостеприимно предоставили весь зал. Он спал там на кровати, а Авдотья ночевала в кухне на печи. Мальчишек же и Аверьяна выпроводили в сарайчик.

Дед Гребенщиков был жилистый, носил бородку клином и поверх рубахи надевал коричневый пиджак. Штаны на нем были сатиновые, черные, и, по причине ревматизма, он ходил не в сапогах, а в валеных калошах.

Он приехал вечером, а утром, обстоятельно поговорив со всеми, пожелал пройтись.

— Ну, Шурка, — подмигнув, еказал он, — ты меня веди, а завтра я тебя буду везти.

Тут он, довольный, посмотрел на всех, и все поохотали.

Тогда Шурка подошел к нему и подал ему руку. Он был низенький и важный, с красными щеками. Он надел картузик, и они отправились.

Неторопливо они шли, смотрели на ходу направо и налево и беседовали, а увидя лавку, заходили внутрь и прищипывались.

Около вокзала дед купил себе и Шурке по стакану кваса и по прянику, а Шурка рассказал ему, как Ванька здесь хвалился под преображение, что продаст их дом и выгонит их.

— Ишь ты, — понегодовал на Ваньку дед, и скоро перед ними оказалась площадь и на ней бараки и вагоны без колес.

Дед был очень доволен, когда Шурка сообщил ему, что это — помещения для беженцев.

Он быстро огляделся, высмотрел скамейку, поспешил к ней и расположился.

Вынув из кармана пиджака пенсне, он живо посадил его на середину носа и признался, что еще не видел, что это за люди — беженцы.

— Тут Шурка удивился, и они, притихнув, стали смотреть молча на мужчин и женщин, выходявших из барачков и опять входивших, а потом к ним села, чтобы лучше разглядеть их, молодая мать с ребенком, и они потаковали с ней.

Застенчивая, оправая кофту и вздыхая, она им рассказывала, как в тот город, где она жила, прислали первых раненых и поехали от станции до лазарета, забинтованных, а люди подбегали к ним и клали на носики деньги и расстраивались, а потом привыкли, проходили мимо и не взгадывали даже.

А когда солдаты стали отступать и угонять с собой скотину, чтобы не досталась немцам, было слышно, как за городом кричат коровы, потому что их не кормят и не поят, и тогда опять очень расстраивались люди.

— Всякого, должно быть, движимого можно было по дешевке закупить там, — сказал дед. Он поднялся и спел песню:

— Ну, что же? Мы не будем более задерживать вас.

И они простились с ней и завернули на базар и там договорились с мужиком, который собирался завтра ехать по своим делам в Богатое, узнали цены и отправились домой, довольные друг другом и держа друг друга за руку.

На следующий день подъехал их извозчик, все присели в кухне, встали и стояли возле отъезжающих и стали пожимать им руки.

— Шурочка, — расчувствовалась бабка и, закрыв лицо передником, завсхлипывала, — может быть, я не дождусь тебя, — а дед Матвей тихонько рассказал Гребеншикову, как один раз поругался с ней и крикнул ей, чтобы она издохла, а она ему — чтоб он; они поспорили, кто будет первым, и решили тянуть жребий и, вот, жребий выпал ей.

— Большой бы ты был, Шурка, я велела бы, чтобы писал мне, — всхлипнула и мать, и Шурка ей ответил:

— Я неграмотный.

Приятно было ехать то между полями, то между лесочками, греметь по мостикам, смотреть на стайки птичек, то взлетающие, то спускающиеся, то выпрямляющиеся, то загибающиеся углом, на пестрые стада, деревни с колокольнями и мельницами и купальщиков, бросающихся с бережков в ручьи.

В Богатом почевали у Маланьи Яковлевны на заезжем, пили чай, и кипяток им приносили в большом чайнике с цветами. Шурке дед давал есть пряники и пояснял при этом, что теперь он не у матери, где видят только корки.

Утром они вместе умывались у крыльца и лили из ведра друг другу на руки, потом молились на Маланьины иконы, снова пили

чай, ходили на базар, приценивались, сговорились с мужиком до Земляного и по случаю купили «Утешение болящим», сочиненное епископом Петром и отпечатанное в городе Казани.

7

Дорога пошла дальше степью. Ехать скучно было. Дед достал из сумки «Утешение» и стал читать его.

❖ Болезнь, напечатано в нем было, может привести нас к смерти или кончиться выздоровлением.

Смерть может быть тяжелая и легкая.

Тяжелую обычно умирают грешные, а легкой — праведные.

Но бывает иногда, что праведные умирают трудной смертью, грешные же мирною и безболезненною, и сие пусть не смущает нас.

Нет праведника, у которого бы не было ни одного греха, и чрез мучительную смерть бог подает ему возможность искупить сей малый грех еще в сей жизни и избежать воздаяния за оный в жизни будущей.

Когда же грешник умирает легкой смертью, это значит, что ему не посылается возможность искупить предсмертными мучениями часть его грехов, и что за все он будет отвечать за гробом.

Но не следует при виде трудной смерти думать, что она дается умирающему в наказание за грех. Так помышляя, мы бы согрешили сами, ибо осудили бы его. Нам надлежит предполагать, что это бог его испытывает.

Часто при заболеваниях употребляются лекарства. Но без воли божьей ни одно лекарство не подаст болящему какого-либо облегчения, и если иногда лекарство помогает, это значит лишь, что бог снабдил его на этот раз целительною силой, чтобы чрез его посредство ниспослать уврачевание болящему.

Однако из сего не следует, что должно отказаться от употребления лекарств, ибо может быть, что бог как раз желает исцелить болящего чрез сие лекарство.

Поэтому нам должно:

- а) молиться, чтобы бог снабдил лекарство исцеляющею силой,
- б) вкушать лекарство.

— Эта книга, — сказал дед вознице, — очень умная. Заметил, как в ней все показывается и так и этак, и еще по-третьему? И это очень правильно. О всяком деле можно рассуждать и так и этак.

Стало припекавать. Полянью стало пахнуть. Философствующих начало морить.

Они покрепче сели, заклевали носом и, дремая, доехали до мельницы Земляного.

Тут извозчик вскрикнул, лихо покатались и через минуту, очу-
тась у церкви, соскочили на землю.

Простясь с ним, дед посовещался с Шуркой, и они решили, что
нет смысла им идти на постоялый, и остановились на ночь у Му-
сульманкула Исламкулова, который торговал вразнос иголками и пу-
говицами.

Он очень мило принял их, любезно улыбался, говорил им: —
Ай! — и брал их за руку и тряс ее обеими руками.

Он был в синей куртке, толстый, и на пальце у него было
серебряное обручальное кольцо.

Он усадил их во дворе у грядки с ноготками, и они весь вечер
пили втроем чай.

Слетелись из потемок на огонь их лампы бабочки и бились об
нее.

Таинственные, наклоня на бок голову по временам, чтобы по-
слушать лай собак вдали, поговорили о делах, и дед сказал: — Му-
сульманкулушка, — и выразил готовность сколько-нибудь времени
не спрашивать должок.

Расчувствовавшись, он проникновенно начал говорить об ум-
ном — как мы обо всяком деле можем рассуждать двояко.

Переночевали, и Мусульманкул сказал им «с добрым утром, ба-
тюшка», и стал прислуживать им. Он принес воды и лил ее им на
руки из медного кувшина.

Не засиживаясь, они выпили по несколько стаканов чаю и пое-
ли воблы.

— Кто это тут едет? — постучал в окно извозчик, и они
отправились.

Хозяин, стоя на крылечке, что-то крикнул им. Они оборотились.
Он расставил руки и прижал их к сердцу, важный и умильный.

Снова была степь. Смотреть надоедало. Солнце начинало
жарить. Путешественники, спрятав языки, покачивались сидя и
дремали.

Уже зной спадал, и между облачками, белая, уже стояла косо,
словно наклоняясь над водой, луна. Вдруг дроги подскочили так, что
зубы у всех лязгнули, и побежали по уклону к мостику. Прогрохота-
ли, взвехали и очутились в деревушке с глиняными избами и глиня-
ными невысокими заборчиками.

Избы эти были выбелены, и по белому на них наведены были
цветною глиной разные узоры и рисуночки.

Здесь дед и Шурка слезли и пошли к избе с подсолнухами и с
картинками «две девки» и «цветы в горшке».

— Дворы у нас, — сказал дед Шурке, открывая перед ним ка-
литку, — крытые, а то бы их из степи заносило снегом.

Выбежала бабка в темном сарафане, сипем фартуке с карманами и сереньком платочке и засуетилась.

— Ах ты, котик мой, — сказала она Шурке и, присев возле него на корточки, пустилась тормошить его.

Он высвободился и, ухватясь одной рукой за деда, а другой отряхиваясь, зашагал с ним в дом.

Как там, откуда он приехал, в доме была кухня и еще другая комната.

Она здесь называлась «чистая», и в ней висели между окнами два зеркала, украшенные бантами, и две картинки в рамках: «Радко Дмитриев» и «Фиорая».

Пока грелся самовар, гудя, и дед расспрашивал старуху о хозяйстве, отворилась дверь, и в дом вошли солдаты.

— Здравием желаем, — крикнули они и стали у порога.

Тут все посмеялись, глядя на них. Оба они были одинаковые и похожие на деда, узкие и жилистые. Петр был контужен, а Иван уволен в отпуск на покос. Приехали они недавно и еще не выветрились, от них несло казармой.

— Натя пять, — приветствовал их Шурка, не вставая с места и протягивая руку.

— Ладно, — сказал дед. — Садитесь и докладывайте, — и они уселись и, куря махорку, доложили ему, что начнут завтра косить на арендованных участках, послезавтра — на своих, что обошли всех должников и всем им сделали распоряжения.

8

Должники косили, а Иван и Петр наблюдали и командовали. Дед пришел позднее.

Ведя Шурку за руку, он обошел участки, говорил «бог помощь», надевал пенсне и слушал, что ему докладывали.

Бабушка с харчами и питьем приковыляла в полдень. Дед, поев, ушел с ней, а солдаты смастерили тень, и Шурка похвалил их и улегся с ними. Тут он подружился с ними и с тех пор всюду стал ходить за ними.

Скоро пришло время Ваньке уезжать, и Петр впряг в телегу лошадь, чтобы отвезти его.

Соседки собрались перед избой взглянуть. Солдатки, оказавшиеся среди них, заголосили.

— Вам-то что? — тихонько говорил им грязный старикашка Тишка и подталкивал их.

Деду тут же донесли об этом, и, приблизившись к Тишке, строгий, он надел пенсне.

Недолго уже оставалось и ему быть дома. В понедельник утром, выпустив скотину, бабка запрягла. Дед с Шуркой кончили свой чай и оба покрестились. Дед набросил на одно плечо пыльник и взял корзиночку с харчами — без углов, овальную, с какою ездил главный, — и брезентовый портфель.

Дом заперли. Ворота за собой закрыли. Шурка крикнул «но», и бабка тронула вожжами лошадь.

До конторы, куда деда надо было отвезти на службу, было десять верст. С дороги разглядели вдали Петьку, с должниковым малым Ленькой подымавшего пары. Махнули ему шапками, но, занятый работой, он не смотрел по сторонам.

Контора была каменная, и над ней была пристроена светелка. В ней жил дед, когда служил.

Все поднялись туда. Сушенная трава висела над кроватью — предохраняющая от клопов. На столик положили «Утешение болящим».

Бабка прибрала немного и открыла окна.

— Липа во дворе цветет, — сказала она. — Вот Евграфыч, ты по собирал бы, да и посушил нам на зиму.

В субботу они съездили за ним и взяли то, что он им насушил, а вечером, когда он слушал доклад Петьки, щелкал счетами, снимал и надевал пенсне, жевал губами, — неожиданный, пришел Мусульманкул.

Картинно он развел руками и раскланялся.

— Почтение, — сказал он и спустил с плеч тюк.

Он ночевал. Сидели долго в «чистой» вокруг лампочки и распивали липу. Говорили о делах. Откладывали числа косточками счет. Дед жаловался на завистников и рассказал про Тишку.

Петька тут вскочил и, стукнув себя в грудь, соорудил странное лицо.

— Я головы бы им пооборвал, мерзавцам, — принялся кричать он. — Почему я до сих пор не знал про это?

Мусульманкул, приятно улыбаясь, показал обеими руками в его сторону, а туловищем шевельнул в другую.

— Молодость, — сказал он и полюбовался. — Порох. Ах, какая кровь.

А дед приподнял руки и держал ладони рядом с головой. Когда же Петька перестал шуметь и сел, он начал философствовать и говорить, что обо всяком деле можно рассуждать двояко, и что даже если взять разбойника, которого мы ненавидим, то окажется, что и ему необходимо чем-нибудь прокармливать себя.

Так каждую субботу бабка с Шуркой за ним ездили и каждый понедельник снова отвозили его. Петьку теперь редко можно было видеть. Он, распоряжаясь должниками и поденщиками, убирал пшеницу.

В это время Шурка с разными приятелями бегал по деревне, уходил на речку и за крайним домом, сняв с себя рубаху, надевал ее на пузо, словно фартук. Зубы у него вываливались, и сквозь дырки он стрелял плевками. Петька один раз остриг его большими ножницами для овец, как стриг баранов, косяками и ступеньками, и он расхаживал, пока не оброс снова, с пестрой головой.

Был праздник. Выпили денатурата за обедом. Дед надел пенсне.

— Сын Петр, — произнес он важно и спросил у Петьки, не намерен ли он взять себе жену.

Тут Петька встал во фронт и крикнул «рад стараться». Шурка подмигнул ему, а бабка оживилась и сказала, что тогда ей сделается легче.

Осень наступила уже. Все работы наконец закончились, и на краю деревни, где одна против другой были две кузницы, в избе солдатки Яковлевой, посиделки начались.

У Яковлевой оказался бубен, и когда она плясала, низенькая, черная, растрепанная, как цыганка, и вертящая, то подымала его вдруг над головой и, вскрикивая, ударяла в него.

Петька каждый день ходил туда, и Шурка отпраивался с ним. Он очень веселился там и падал на пол со смеху, когда жгутом из полотенца колошмятили кого-нибудь, кто проиграл в игре.

Все уже знали там, что Петьку дед решил женить, и девки к нему льнули, а мальчишки около него скакали и проделывали пальцами увеселявшие всех знаки.

Из Богатого дед выписал портного Александрыча, который ходил шить по деревням, и он сидел, благообразный, с серенькой бородкой, скрестив ноги, на столе и шил для Петьки свадебное, а для Шурки шубу, деду же и бабке штопал и перелицовывал.

Как выяснилось вскоре, он знал деда Матвея и знаком был с Мандриковым. Он хвалил их. Шурка полюбил сидеть возле него и слушать, как его один раз взяли в плен разбойники и продержали его, пока он их не обшил всех.

Свадьба была пышная. В деревне церкви не было, и ездили венчаться в ближнее село. На дугах с колокольчиками красовались полотенца, гривы и хвосты у лошадей заплетены были и перевиты лентами. Для смеху баб и девок из саней вываливали в снег. Плясали под игру гармошечников, угощались, распивали пенное и брагу до рассвета. Яковлева била в бубен. Утром именитым женщинам показывали на рубахе, снятой с Петькиной жены, пятно.

Молодоженам уступили «чистую», а старики и Шурка поселились в кухне. Дед и бабка называли Петькину жену «молодка» и пристроили ее к уходу за скотом.

Черноволосая и толстомясая, она ходила вперевалку. Часто Петька схватывал ее в охапку и, держа ее, звал Шурку ее шлепать. Все смеялись тогда.

Шурка, в новой шубе и в ушастой шапке, в черных валенках и в шарфе и перчатках из домашней шерсти, низенький и красный, по утрам ходил кататься с горки. Девки и мальчишки, мужики и бабы, гогоча, валялись в розвальни и с пиканьем летели сломя голову в овраг. Пескотно было в животе, захватывало дух и весело было.

9

Зима подходила к концу, и дни сильно прибавились, но очень холодно было — стояли морозы и северный ветер дул.

Бабка сказала, что если к субботе не станет теплей, то она не поедет за дедом — пусть Петька потрудится.

Петька ответил, что он это может и даже не знает, об чем разговор.

В это время явился вдруг дед. Он приехал с «оказией».

— Ну-ка, солдат, — сказал он, снял тулуп, размотал шарф и повел Петьку в «чистую».

Там они долго советовались. Потом, выйдя, они объявили, что, кажется, скоро уже будет мир.

Закусив, дед уехал, а Петька не вытерпел и рассказал, что царя больше нет.

Неожиданно им через несколько дней написала Авдотья.

«Тенерь-то уже», — рассуждала она, — «верно, скоро отпустят солдат. Он приедет, и я возьму Шурку».

Она сообщила еще, что на масленице ее мать умерла.

Прочитав это, дед рассказал про нее, как она с мужем бросила жребий и ей выпала первая смерть. Все дивились, а Шурка был горд, что история эта произошла с его родственницей.

— Это что, — похвалялся он, — там и не то еще было, — и он принимался описывать им смерть Губочкиной.

Между тем время шло, а война не кончалась, и дед привозил неприятные новости: черный народ разнахалябничался, стал завидовать тем, кто себе что-нибудь заработал, и грабить.

— Сын Петр, — учил он, — сейчас надо жить незаметно, ни в долг не давать никому, ни в аренду не брать ничего, а возделывать, не суетясь, свой падел... Шурка будет тебе помогать.

— Это да, — кивал Шурка, — могу.

Пришло время, и они вышли в поле вдвоем. Они жили в палатке, варили еду на кострах и ложились по очереди, чтобы жулики не увели лошадей.

Раз к палатке явился верблюд из села, куда ездили в церковь, хотел стащить хлеб и свалил ее. Было о чем рассказать потом.

Бабка, когда на короткое время они приезжали домой, умилялась.

Голубчик ты мой,— говорила она, — помогаешь, — и Шурка был рад и, довольный, примерно держал себя, не удирал, приносил в дом пользу, смотрел, не попала ли в воду та курица, которая водит гусят, или пнал с огорода теленка.

Однажды теленок напал на него и, сбив с ног, стал бодать, а молодка, ходившая глянуть, готова ли баня, спасла его. Бабка дала ему вышить крещенской воды, с него сняли рубаху, надели ее на него назад пуговицами и велели ему лежать. Потом бабка отправилась в баню и Шурку взяла с собой. Мыла тогда уже не было. Мылись раствором, в котором мочили овчины, и шерсть попала в нем.

Осень прошла. Наступила зима. Дед по-прежнему по понедельникам сходил в контору, потом приезжал по субботам и вечером, сидя за чаем, беседовал и наставлял.

— Мир навряд ли теперь будет скоро,— однажды сказал он: — Самара уже государство, другие города — то же самое. Этак у нас без конца будет свалка.

Тут Петька вскочил, покраснел и стал бить себя по раскрытой груди кулаком.

— Так и нам без конца,— закричал он, — урезать себя, скаредничать и все делать самим?

Дед приподнял ладони, а голову, кротко вздохнув, он склонил на плечо.

— Сын мой Петр,— согласился он, — да, это очень обидно. Но что можно сделать? Потершим еще.

Он приехал один раз в большом беспокойстве.

— Петр, вот что приходит мне в голову,— сразу сказал он: — Ты слышишь одним только ухом. В России тебя отпустили домой. Но как будет в Самаре? Не вздумает ли она тебя снова забрать?

Озабоченные, они совещались весь день и решили, что дед съездит к доктору Марьину и потолкует с ним.

Выждали несколько, чтобы подсохло, и дед, отпросясь из конторы и взяв с собой Шурку и короб с харчами, отправился.

До Земляного они подремали в телеге с высокими стенками. Сонные, они слышали по временам, как колеса бойко стучат на хорошей дороге, то скрином ворочаются по пескам.

Ночевать они думали у Исламкулова, но он ходил с тюком по селам и, разочарованные, они со своим коробом двинулись на постоялый, и их уложили там в комнате с картой войны на стене и с наклеенными вокруг карты бумажками от карамели «Крючков».

А в Богатом хозяйка заезжей узнала их и, подавая им чайники, поудивлялась, что Шурка подрос. Он моргнул ей и выстрелил молотцеватю слюной через дырку в зубах.

Из Богатого выехали на рассвете и днем были дома. В сенях, как и прежде, стояла кадушка с водой и висела парадная сбруя. Зеленые возжи уже стали серыми.

В кухне сидел дед Матвей и читал, а девчонка, которую отвозили к просвирице, писала. Она была жилистая, с длинным носом — в Евграфыча и в евграфычевых сыновей.

Мать была в это время на станции — сделала студень и с младшим мальчишкой пошла продавать.

Возвратясь, она ахнула. — Шурка, — бросаясь к нему, закричала она и, схватив, подняла его.

Высвободясь, он утерся рукой. Младший брат подошел к нему и, приставив каблук к каблуку, отдал честь.

— Ну, — сказал дед Евграфыч, — что нового?

Мать рассказала про бабуку, и он покачал головой. Снова вспомнили Губочкину.

Аверьян, оказалось, уже больше не жил здесь. Осенью он перешел к машинисту Скворцову в зятя.

— Говорят, — подмигнула Авдотья, — что Ольгу Суконкину видели в церкви во время венчанья. Она грызла руки от злости.

Когда пообедали и дед Евграфыч всхрапнул, он сказал:

— Ну-ка, Шурка, я вез тебя, ты же меня поведи. — И опять, как два года назад, все смеялись.

— Идем, — кивнул Шурка. Они собрались и отправились к Марьину, но не застали его.

Возвращаясь, они загляделись на девку в бушлате и розовом фартуке, несшую в каждой руке по скамье.

— Интересно, — сказал дед, — куда это.

Девка вошла, отдуваясь, в какой-то амбар или бывшую лавку, широкие двери которого были открыты, и стала стучать, устанавливая там свои две скамьи.

— Заглянем? — оживляясь и надевая пенсне, спросил дед, и они завернули туда.

Там сидели мальчишки и взрослые, ерзали и перешептывались. На стенах были белые вывески. Шурка, показав на них пальцем, спросил, что там пишется.

— Это мы мигом узнаем, — сказал ему дед, почитал и ответил:

— Божественное.

Впереди стоял столик с водой. Вдруг за ним очутился мужчина из немцев, напился, утер рот платком и сказал, что сейчас здесь незримо присутствует сам дорогой наш господь.

Потом спели по книжечкам песню с припевом «открой»:

Как олень молодой
По тропинке лесной

К ручейку спешит,
Иисус святой
В сердце твое стучит:
Открой! —

и мужчина у столика стал разяснять о «рабе», что не больше он, чем господин, а, напротив того, должен слушаться своего господина со страхом и трепетом.

Снова поспали, прошла вперед немка в седых завитушках и встала у столика.

— Счастье, — сказала она, — в громкогласной молитве. Оно недоступно для тех, кого дьяволы держат за губы. Таких людей участь — плачевна.

Она проницательно всех оглядела и вызвалась, если здесь есть кто-нибудь из таких, помолиться с ним вместе о его исцелении.

— Есть, я, — объявила, встав, девка в бушлате.

— Идите сюда, — пригласила целительница и с небесной улыбкой ждала.

Вдруг ее кто-то облил чернилами. Визг поднялся. Все повскакивали. Одна лампа погасла.

— Ох, сил нет, — сказал деду Шурка и вышел на улицу походить.

Он узнал там, что скандал этот сделал Егорка, сын Ваньки Акимочкина.

— Молодчина, — хвалил его Шурка, гордясь: — прямо в харю попал. Он наш родственник.

Утром Евграфыч сходил один к Марьину. Марьин его обнадежил.

— Все в наших руках, — похвалился он.

Дед удивился приятно. Они сговорились, прощаясь, что Петька приедет сюда.

10

Мать выходила к поездам с харчами. Шурка помогал ей. Он смотрел за покупателями, чтобы как-нибудь они не изловчились и чего-нибудь не сперли.

Он пилил дрова, колол их, носил в дом, ходил на живодерню за ногами и рубил их на полу в корыте.

Мать варила из них студень для продажи, а мослы наваливала на кухонный стол, и вся семья садилась и обгладывала их.

— Все шуркина работа — приговаривала мать: — Он как отец у нас, на нем дом держится, — и всюду его расхваливала.

В среду на страстной неделе был большой базар, и Мандриков приехал на него с горшками. Теица главного была там и купила у

него кувшин для молока. Он просил ее сказать Авдотье, что есть новость для нее, известие, которое не лишено значительного интереса.

Через час Авдотья прибежала туда и остановилась у его телеги, запылавшаяся и парадная, с кораллами на нее. Ее синее сатиновое платье уже вылиняло, черный кружевной платок стал рыжим.

— Здравствуйте, — сказала она Мандрикову, и тогда он сообщил ей, что произошло с Евграфычем, когда он выехал отсюда: в Земляном он почевал у Исламкудова, а к Исламкудову залезли воры и зарезали обоих. Александрыч в это время шил в той стороне — и, вот, вчера рассказывал.

В день пасхи встали поздно и, принарядясь, отправились на кладбище. Христосовались с встречными и разговаривали с ними о Мусульманкуде и Евграфыче. Добравшись, покрошили красное яйцо и ломтик кулича на бабкину могилу, чтобы воробы слетались туда и клевали. Возвращаясь, потрещивали на колокольне, а когда пришли домой, явился Аверьян — поздравить.

Дед с ним вынул синенького, и они поговорили про Евграфыча и вспомнили другие смерти — бабкину и Губочкиной, и потолковали об Иване — как он затевал присвоить этот дом, и как на материны похороны прибыл прямо в церковь, а на панихиды, певшиеся в доме, носа не казал.

Авдотья присоединилась к ним и тоже выругала Ваньку.

— Нюрку-то свою, — напомнила она им, — искалечил тогда: до сих пор ведь чахнет.

Вечером они еще раз всей семьей прошлись. Они задерживались то с одним знакомым, то с другим и говорили с ними о Евграфыче. У станции они увидели толпу и поспешили посмотреть, в чем дело. Окруженные любителями взрослые и мальчуганы ползали на четвереньках и, светя друг другу спичками, кончали катать яйца.

— Эх, — сказал Матвей, — вот, мы с тобой не взяли по яичку.

Постояли там немного, пока все не разошлось, и вспомнили еще раз, как когда-то Ванька здесь бахвалился.

Проходясь, Аверьян насунился. Он дернулся идти и задержался.

— Знаете, — сказал он и пожаловался, что Скворцовы, его теща и теща, заставляют его день и ночь таскать дрова и воду и считают его, кажется, за батрака.

На радуницу были еще раз на кладбище, молились там и ели. Было очень весело. Кругом везде закусывали, пели панихиды и играли на гармониках. Перед воротами вертелась карусель, сидели бабы с семечками, и фигляры в узеньких штанишках с золотыми блестками домались под шарманку.

Дед здесь подошел к Василию-соседу, земледельцу, и поговорил с ним. Оказалось, что недавно в лес за сахарным упал небесный камень и от этого сгорело несколько деревьев.

— Не к войне ли это? — спросил дед, подумав, и узнал, что — да, и скоро все заговорили о войсках, которые со всех сторон идут сюда, и стали рыть землянки и закапывать имущество.

Суконкин, раздобыв трех пленных, приказал им вырыть подземелье подо всей усадьбой. Дед Матвей возил туда дубовые столбы и тес.

Однажды прилетел аэроплан откуда-то, поколессил вверху и скрылся, пушки стали ухать где-то, и один раз ночью, когда все уже храпели, в дом к Авдотье постучались чехи и велели деду сесть к ним в грузовик и показать им, как проехать к станции.

Авдотья и все дети встали и, обеспокоенные, пачади выскакивать и слушать, не идет ли он уже. Вернулся он ужасно важный и, снимая лапти, рассказал, что было очень страшно.

Утром, неся ведра, чистое и мериново, он повел коня к колодезю. Грузовик с мешками и с хвостом из пыли выскочил из леса, побежал вдоль ветки, а за ним — другие два.

Тут тепа главного, согнувшись, вылезла через дыру в заборе. У нее в руках был сери и кузовок, а на руках перчатки, чтобы жать крапиву. Выпрямясь, она взглянула на грузовики.

— Должно быть, это чехи в сахарные склады понавелись, — сказала она, и дед прескпнул языком два раза.

— Вот дела какие, — сообщил он, возвратясь с колодезца, и тогда Авдотья сшила из дырявой наволоки несколько мешочков и отравила детей на станцию выпрашивать у чехов сахар.

Там уже расхаживали, каянча и прикидываясь сиротами, все Лкимочкины, дети Ивана и его второй жены. Егорка, тот, который окатил тогда чернилами старуху, был губастый малый лет четырнадцати, длинный, с маленькой физиономией и красненькими глазками.

— Пожертвуйте кусочек сахарку, — гнусавил он, протягивая руку, — родненькие дяденьки, бездомному мальчонке.

Шурка стал вертеться около него, почтительно поглядывать и скромно улыбаться, но Егорка не успел заметить его, потому что через несколько минут их всех прогнали.

Скоро стало опять слышно, как стреляют где-то, и однажды утром чехи выпустили нефть, которую накачивают в паровозы, и уехали на поезде. Она стекала в канавы. В полдень пришли красные и приказали всем явиться с банками и ведрами и подобрать ее.

Здесь Шурка узнал от матери и, пошныряв между народом, отыскал Егорку и с своей жестянкой присоединился к нему.

— Ах, и лихо ты тогда плеснул ей в харю-то,— сказал он, и Егорка ухмыльнулся снисходительно.

Авдотья же разулась и с засученными рукавами, деловитая, пристроилась носить наполненные ведра.

— Здравствуйте, кума,— подкрavшись неожиданно, сказала ей литовка и поджала губы. — Издеваются как — а? Ну, прямо нет спасенья. Но не долго это будет,— ксендз нам говорил.

Когда все было сделано и люди привели себя в порядок и пошли домой, Авдотья выругала Шурку. Оказалось, она видела, как он заговорил с Егоркой.

— Ты забыл,— спросила она, — как они хотели нас из дома выжить? Нечего там. Словом, чтобы это было в первый и в последний раз.

Торговки, вышедшие к поезду с съестным, увидели однажды, как пришел мальчишка с кистью и наклеил на изопропункт афишу. Грамотные, поручив соседкам постеречь товар, направились к ней.

— Что там? — спросил Шурка, когда мать прочла все и вернулась, и она ответила, что будет диспут насчет бога и бессмертия души.

— Не знаю, что это за штука,— подивилась она.

Дед же, когда он явился вечером с работы, уж знал все.

— Это такой спор,— сказал он. — Мы будем свое доказывать, они свое, и если возьмет наша, то бог есть.

Всем было интересно, что в конце концов окажется, и множество народа пришло слушать спор. Служители церкви, которые были обещаны афишей, не смогли прибыть:

— Мы очень сейчас заняты,— сказали они, когда к ним пошли поторошить их.

Начали без них. Сначала был доклад, в котором ничего нельзя было понять, потом открылись прения.

Ораторы, обдергивая куртки и приглаживая волосы, всходили на подмости, ударяли кулаком по столику, кричали:

— Бога нет!

или

— Бог есть!

спускались, шли на место и старались успокоиться, а их соседи дергали их за рукав и начинали спорить с ними.

Иногда все воодушевлялись, принимались топотать ногами и выкрикивать:

— Есть!

— Нет!

Мальчишки, сунув пальцы в рот, свистели, председатель вскакивал и начинал звонить, и время шло, а дело ни на шаг не подвигалось.

Вдруг Иван Акимочкин взял слово.

— Господа,— сказал он,— граждане,— и показал обеими руками на Марьина: — Вот доктор. Все мы знаем, что он делает большие операции, режет тело и туда заглядывает. Спросим его, видел ли он там, в середине, душу, и он скажет нам, что нет. А между тем мы знаем, что она находится там. Так-то вот и бог, как говорится: нам его не видно, но он есть.

Тут верующие захлопали в ладоши, закричали:

— Правильно!

и стали ликовать, считая, что теперь все выяснено. Дед Матвей довольный посмотрел на всех, а земледелец Василий Иванович и главный, которые сидели позади него, пожали ему руку и поздравили его. Сияя, он толкнул Авдотью и сказал ей:

— Что ни говорите, а Ванька — голова.

11

Безде хвалили Ваньку и рассказывали, как он ловко осадил безбожников. Матвей со всеми разговаривал об этом, и когда ходил мимо ларьков у станции, уже не вспоминал, как Ванька здесь бахвалился когда-то.

А Авдотья встретила однажды с Виноградовым, дьячком, и он сказал ей, что Иван Матвеевич — новый Златоуст. Польщенная, она ответила на это, что — да, правда, шарики у Ваньки хорошо работают.

Был вечер. Солнце было низко. Колокол звонил. Иван Акимочкин лежал после обеда. Он почувствовал, что словно его кто-то дернул за руку и толкнул в спину, чтобы он пошел на кладбище и навещал могилу своей первой жены Марьи.

Он повиновался и, придя туда, нечаянно заметил, что иконка на кресте над прахом Яшки, сына земледельца Василия Ивановича, обновилась.

— Шел я это,— стал рассказывать он всем,— и вдруг смотрю себе: что это? — думаю.

Все начали ходить тогда на Яшкину могилу и дивиться и соображать, что это предвещает. Даже ксендз пришел и, поджав губы, покачал побритой на макушке головой.

— Да, это чудо,— подтвердил он одиннадцати беженкам, которые его сопровождали, и предостерег их, что оно не означает, будто схизматическая вера правильная, а показывает лишь, что бог, где он находит нужным, там себя и проявляет.

— Он свидетельствует о себе,— сказал ксендз и приподнял налеч,— и предупреждает тех, которые ему противятся.

Авдотье, специально забежав для этого, про обновление иконы рассказала земледельца жена, и, проводив ее, все посмеялись, потому что до сих пор она всегда форсила и при встречах отворачивалась.

Сговорясь с другими стационарными торговками, Авдотья после поезда велела Шурке отнести домой корзину, а сама отправилась с ними на кладбище — взглянуть.

Иконка на кресте у Яшки была и в самом деле новенькая. Нескольких мужчин и женщин, глядя на нее, стояли и молчали. Ванька оказался здесь же. Он кивнул Авдотье и поднес два пальца к козырьку.

— Я навеваю здесь своих покойниц, — объявил он громко: — маменьку и первую жену.

Авдотья сделала ему навстречу полшага и протянула ему руку.

— Как вы поживаете? — сказала она. — К нам бы заходили как-нибудь. Папаня будет заинтересован вас видеть.

— Что же, я вполне сочувствую, — ответил ей Иван.

Он проводил ее и зашел в дом. Дед встал, захопнул свою книгу, посмотрел из-под ладони, точно против света, и стянул с себя очки.

— Вот это радость, — заявил он и, когда уселись, пожалел, что печем ознаменовать ее.

— Найдется что-нибудь, — любезно сказал Ванька, поднялся, пригладил ежик, надел шапку, вышел, завернул к Василию Ивановичу, земледельцу, и принес бутылочку.

После усенья Шурка первый в доме встал, старательно умылся, привязал веревкой к пуговице куртки пузырек с чернилами, взял грифельную доску, кусок хлеба с солью и пошел учиться.

Старшая сестра его, Маринка, проучившаяся в школе уже год, с кровати закричала ему, важничая:

— Ты чего спешить? Пойдешь со мной вдвоем. — Но он не захотел идти с ней.

Он уселся на четвертую скамейку, отвязал свою чернильницу, откинувшись на спинку парты, руки положил на стол, одну поверх другой, и благодушно стал поглядывать, готовый посмеяться, если вдруг случится что-нибудь забавное.

Вошла учительница, ПЦербова, не очень молодая и одетая порядочно по последней довоенной моде, в длинной юбке и в митенках с кружевом. Она остановилась и, умилительно посмотрев, сказала:

— Здравствуйте, ребята, и, пожалуйста, не обращайтесь на меня внимания, потому что я наелась чеснока и луку.

Она села и, протягивая свисок, отягдела каждого, потом пошла к доске и принялась показывать на ней, как надо выводить крючки и палочки.

На перемене Шурка стал есть хлеб и разговаривать с учениками.

— Вы верблюдов видели? — спросил он, и они должны были признаться, что не видели. Про крытые дворы и про портного Александрыча, который обшивал разбойников, они не слыхивали, в поле не работали, в палатке и на постоялом дворе никогда не спали.

— Мелко плаваете, — посвистев, сказал им Шурка и пахально посмотрел на них. Они падали на него и стали его бить, а он стал отбиваться кулаками и ногами и кричать, что жалко, что нет финки или кистеня, и так они дрались, пока не вошла Щербова и не сказала:

— Это что такое?

Возвращаясь, он увидел на путях у станции вагон, похожий на почтовый, и толпу возле него, которая гадала и вдруг выстроилась в очередь.

Он подбежал к ней и, пристроясь, вошел с ней в вагон, уселся и, когда погасла лампочка, увидел улицу с пятнадцатипятиэтажными домами. Человек, спасаясь от большой собаки, выбежал из-за угла и вскочил в бочку, а собака покатила ее лапами и выкатила за город и сбросила с обрыва в озеро. К обрыву вдруг гуськом примчались полные разбойников автомобили и по очереди, друг за другом, все свалились в воду.

Скучными казались Шурке станция и маленькие домики поселка, когда, выйдя, он отправился домой. Он думал о красивом городе, который ему только что показывали, и о том, что хорошо бы было жить там.

В воскресенье мать нажарила пшеничных пирогов с капустой, чтобы продавать у поезда, и Шурка пошел с ней на станцию. Там подошел к ним мальчик, лет семнадцати, заяц, в деревенской шубе, отобрал пятнадцать пирогов и объявил, что тятенька заплатит: он в том доме.

Шурка, добежав с ним, сел и начал его ждать, а он не появлялся. Шурка заглянул в те двери, за которыми он скрылся, и увидел, что проход сквозной.

Горюя и ругая себя, он и его мать распродали то, что у них осталось и, повесив головы, отправились домой. Все уже знали, что произошло, и около аптеки им сказали, что заяц сейчас в чайной и с каким-то погодеем пьет с их пирогами чай.

Сейчас же они бросились туда и, вызвав его, стали требовать уплаты. Он же, подхватив руками полы своей шубы, начал удирать. Авдотья, Шурка и присоединившиеся к ним прохожие бежали за ним следом и кричали встречным:

— Дяденьки, держите его.

Железнодорожник с желтыми усищами, который шел навстречу, растопырил руки, заскакал, чтобы поймать зайку, поперек дороги, укренился на расставленных пожижах и, облапив, задержал его.

— Ну, Шурка, — сказал он, когда погоня добежала, — бей его, — и наклонил воришку, чтобы Шурка мог его достать.

Тут Шурка стал хлестать его то по одной щеке, то по другой, пока Авдотья наконец не смилостивилась и не остановила его.

— Дельно, — похвалил Егорка, оказавшийся в толпе, шагнул вперед, ударил вытиравшего платком лицо и отдававшегося Шурку по плечу и посмеялся одобрительно.

— Мал золотник, да дорог, — сказал он и предложил пройтись с ним.

— Ах, — и деловитый, нахлобучив шапку, Шурка быстро сунул матери платочек, сделал грудь горой, нос вздернул и ответил басом:

— Дуем.

— Надо было шубу у него отнять, у гада, — сказал вдруг Егорка, когда они молча несколько прошли.

— Эх, мы не догадались, черт его возьми, — ударил себя Шурка кулаком по голове и начал сокрушаться и досадовать.

Егорка, подведя его к подъезду станции, остался посидеть у входа, а его послал в середину и велел насобирать окурков.

— Много? — на ходу осведомился Шурка, ринувшийся, чтобы поскорей исполнить это поручение и оправдать доверие, которое Егорка оказал ему.

Покуривая, они стали говорить, что здорово бы было сделаться разбойниками.

Шурка стал расхваливать разбойничье житье и рассказал о нем все, что узнал когда-то от портного Александрыча.

— Им тоже нужно чем-нибудь прокармливать себя, — сказал он.

Рассуждая так, они дошли до дома Ваньки и вошли в каантку палисадника.

Дом был обшитый досками, голубешкий, с зеленой крышей и лиловыми воротами. На двери, как у доктора, сияла начищенная медная дощечка, а на косяке висел железный прут с деревянной грушей на конце.

Егорка дернул его, и за дверью звякнуло. Зашлепали калоши, загремели разные крюки и цепи, Ванькина жена открыла и посторонилась, чтобы дать пройти.

Она была большущая, живот держала выпятя, а плечи отведи назад, как будто несла воду в ведрах. У нее в ушах висели серьги кольцами. Ее лицо было большое и невыразительное, белая ночная кофта выпачкана блохами, а ноги без чулок были толстенные, голу-боватые и лоснились, как костяные:

— Наше вам, — сказал ей Шурка вежливо и подал руку.

В доме был угар от утюга, грязь, на стенах коричневые пятна от клопов. Возле икон был помещен Петр Первый с усиками и мясистым подбородком, в кудерьках, как баба, отпечатанный на жести, и пучок бессмертников.

— Что ж, Нюрка еще чахнет? — спросил Шурка, подмигнув.

Егорка посмеялся и ответил:

— Чахнет, — и они поохотали.

12

В начале ноября у Ваньки был прием. Все родственники и главнейшие знакомые приглашены были пожаловать к нему по случаю дня именин его жены.

Все было на большую ногу. Подогнали к этому торжественному дню убой свиньи. За самогоном ездили к Василию Ивановичу на телеге.

Стол был накрыт в «заде». Именинница надела свое свадебное платье. Оно было розовое, матовое, и на нем был выткан шелковый узор в виде глазочков из павлиньего хвоста. Лицо она натерла порошком, который приготовила из стружек от стеариновой свечи.

Сам Ванька был в рубашке с отложным воротником и в кителе с затянутыми черным коленкором пуговицами. На шею он пристроил вместо галстука шнурок с помпонами, усы намазал салом и свернул коленками.

Детей в тот вечер рано накормили, подпоили их, чтобы покрепче спали, и упрятали их всех на печку.

Нюрке маюха велела причесаться на прямой пробор и выдала ей белый фартук. В нем она должна была прислуживать.

Чтобы улучшить в доме запах, зажгли свечку и сожгли на ней кусок бумаги.

Собрались: церковный староста со старостихой, земледелец со своей сунругой, дед Матвей с Авдотьей, Аверьян с женой, отцом жены и ее матерью, литовка с мужем.

Пили самогон и несколько наливок из него. Еда была вся изготовлена из мяса только что заколотой свиньи.

Приняв от всех приветствия и с каждым гостем выпив, именинница сейчас же ошалела и весь вечер просидела молча, хлопая глазами и то вздергивая голову и озираясь, то опять роняя ее.

Ванька лебезил перед гостями. Он пенял дорогим родственникам, что они так долго на него сердились, пожимал им ручки, пил за их здоровье и выражал надежду, что вперед у него с ними будет мир.

Дед радостно ему поддакивал, похлопывал его по плечу, поглядывал на всех и похотывал. Он выпивал стаканчик за стаканчиком, закусывал кусками сала и засаженные пальцы вытирал об волоса.

Литовкин муж пил молча, что-то думал, иногда ребром ладони ударял жену по локтю и, внезапно оживившись на минуту, говорил, показывая головой на стол:

— Шамовка губернаторская.

Аверьян был грустен и смотрел в тарелку. У него горело одно ухо и одна щека. Беременная и одетая в широкий балахон, его жена дремала, а ее родители старались съесть как можно больше и от времени до времени, прикрыв руками рот, тихонько говорили что-нибудь друг другу на ухо и принимались хохотать. Литовка не коса на них поглядывала и, скандализованная, кашляла.

Авдотья была очень хорошо настроена. Она была в кораллах, в вязаной зеленой кофте тещи главного и в гребне со стеклянными брильянтами. Она сидела рядом с Аверьяном, громко говорила и жестиковала. Иногда она притрогивалась к Аверьяновой руке и, словно испугавшись, вскрикивала.

Гости, все доев и выпив, стали собираться. Поблагодарили и надели шубы. Ванька схватил лампу и повел их к двери. Там он стоял и осветил им.

Выйдя, земледелец и его жена решили сделать крюк и часть пути пройти по рельсам, чтобы не свалиться в лужу около Диесперихи. Дед же молодцом взглянул на них, махнул рукой на «крюк» и, обхватив Авдотью, пошатнулся и пошел с ней прямо.

До Диесперихи они несколько раз падали, а около Диесперихи, облезая по забору лужу, сорвались в нее и пролежали в ней до света.

Утром их доставили домой больными. Теща главного увидела в окно, как их везут, и прибежала посмотреть в чем дело и взять кофту.

Уложив их, она позже навестила их еще раз и дала им липового цвета. Они выжили его, но он им не помог, и ночью они сильно бредили, а дети просыпались и им страшно становилось.

В поддень сунула в дверь голову и молча посмотрела, а потом вошла литовка. Она сделала печальное лицо и шепотом спросила:

— Как они?

На цыпочках она подкралась к деду, от него — к Авдотье и потрогала их.

— Ах, — вздохнула она и, взяв веник, полила из ковшика полы и подмела их.

А когда стемнело, пришла Нюрка с железнодорожным фонарем в руке. Она была в солдатской ватной куртке и в солдатских башмаках.

Поставив фонарь на пол и не разгибаясь, она стала кашлять, а потом сказала, что ее прислали справиться. Под курткой у нее был кусок сала в трянке, и она оставила его.

— Не говорите только никому, пожалуйста,— предупредила она.

Шурка перестал учиться. Утром он сидел возле больных, давал есть лошади, пилил дрова с соседями и таскал воду. Вечером, когда Маришка была дома, он бежал к Егорке и шатался с ним. Он собирал окурки для Егорки, задирал кого-нибудь, когда Егорка хотел драться: на него набрасывались, а Егорка за него вступался.

К поезду они являлись на платформу и прогуливались там. Они подмигивали девкам и толкались с пассажирами, носившимися к кинятильнику или толпившимися около торговок.

Один раз Егорка подскочил внезапно к старушонке в капоре, которая стояла около вагона и уписывала черную лешенку, и, пугнувшись, плюнула ей в глаза.

Она схватилась за них, выпустила сумку из руки, Егорка наклонился, поднял ее и шмыгнул под буфера, а Шурка очень испугался, побежал домой, залез скорей на печку и, не засыная, пролежал всю ночь.

Понискивали мыши и скреблись об жесть, которою были забиты щели. Дед хрипел. Авдотья что-то бормотала и выкрикивала, говорила, что ей, может быть, и тридцати еще лет нету.

Наконец Маришка встала, затопила печь и подошла к кровати деда. Дотронувшись до него, она вдруг взвизгнула и выскочила в «зад».

Авдотья, не пошевеливаясь, велела кликнуть тещу главного и снова стала бредить. Скоро дом наполнился усердными старухами, которые гадали и хозяйничали. Деда вытащили из его постели и, стянув с него рубаху, стали его мыть.

Потом явился Ванька, строго посмотрел на них и объявил им, что он будет здесь распоряжаться.

Дедов сундучок он отпер и распотрошил его. Взял книгу и очки и запасные стекла к ним, а остальное, разный хлам, сбросил обратно.

Хорошить повезли деда на тех дрогах, на которых он извозничал. Последние два дня стоял морозик, и идти за гробом было хорошо.

Процессия составила порядочная. Встречные переходили на середину улицы и присоединялись. Некоторые же останавливали выступавших перед дрогами отца Михайлу и дядька, стоваривались с ними и платили им, чтобы они поехали.

Толстая Диеспериша, важно семенившая сейчас же вслед за родственниками, три раза выходила из толпы, брала свой подол в руки, обгоняла дроги и заказывала пение.

В числе других за гробом несколько кварталов прошла Ольга, дочь купца Суконкина.

Авдотья все еще лежала. Поминать поэтому позвали к Ваньке. К Ваньке же в сарай отправили и дроги вместе с меринком.

— Потом сочтемся, — сказал Ванька.

Как и следовало, на поминках подавали девять блюд. Четыре из них были изготовлены из мяса той свиньи, которую присутствующие уже однажды пробовали, когда праздновали именины Ванькиной жены.

Детей Авдотьи накормили в кухне вместе с Ванькиными. Шурка подтокнул Егорку и напомнил ему случай со старухой, а Егорка подмигнул и снисходительно ответил, что бывало и не этакое.

В доме, когда дети вечером вернулись туда, теща главного и с ней еще одна старуха мыли пол. Когда они ушли, Маришка затопила печь, мальчишки вытащили из-под дедовой кровати сундучок, взломали его, взяли из него «рожки» и съели.

Плохо стало жить. Авдотья все лежала. — «Дорогой супруг мой, — вырвав из Маришкиной тетради лист, писала она и не знала, куда слать письмо.

Она гадала, капая со свечки в воду воск. Из капли должен был получиться гроб, если бы муж ее был мертв. Но ни гроба, ни другого чего-либо у нее не получалось.

В доме было пусто. Налить лампу было нечем. Хлеба тоже не было. За лошадь Ванька прислал с Нюркой четверть керосина и двух коз. Муки, чтобы подбавлять им в пойло, было негде взять.

— Хоть в воду, — сказал Шурка, рассказав Егорке все это, и стукнул от досады кулаком одной руки по кулаку другой.

Егорка поджал губы, поморгал, задрал вверх голову, и предложил ему работать.

Молча и посвистывая, он повел его, как и всегда по вечерам, на станцию. Снег падал, от невидимой за тучами луны светло было, шаги поскрипывали и дышать приятно было.

В «третьем классе», еле освещенном тусклой лампочкой и мутном от махорочного дыма, они сели. Они высмотрели женщину, которая, оставив на скамье корзину, отошла: Егорка велел Шурке идти следом за ней и покараулить ее, а потом бежать к задворкам дома Марьины.

Когда он прибежал туда, Егорка уже ждал его. Взломав корзину, они вытащили вещи, запихали их под шубы и, снеся к Егорке, закопали в сено.

Утром они взяли все, что было белое, и вышли на базар. Цветному они дали полежать пока. Из выручки Егорка выдал Шурке треть.

13

Каждый вечер они стали проводить на станции. Они сидели в «третьем классе» и высматривали, что можно украсть. У спящих они шарили в карманах. К поездам они выскакивали и пныряли по вагонам.

Если ничего не попадалось, что бы можно было им стащить, они протягивали руку и просили милостыню.

Гордый, Шурка возвращаясь около полуночи и, разбудив Маришку, выдавал ей деньги на еду. Авдотье он сказал, что попрошайничает. Она всхлинула и вытерла глаза.

Маришка и Алешка, младший, тоже захотели зарабатывать и стали выходить на станцию, стоять с протянутой рукой перед проезжими и ныть.

Все чаще пассажиры стали умирать в пути, и люди в белых фартуках, неся вдвоем посылки, уже каждый раз, когда на станции был поезд, приходили на перрон.

Все расступались перед ними, и они, взяв из вагонов трупы и накрыв брезентом, уносили их в мертвецкую.

Когда они накапливались там, их вывозили в ямы, выкопанные за кладбищем, глубокие и длинные, как рвы, и присыпали снегом, а землей забрасывали лишь тогда, когда вся яма набивалась ими.

Около мертвецкой с раннего утра похаживали жулики. Одни были небритые, в замызганных шинелях, подпоясанных веревками, сутулые и сонные, другие же — нарядные, сейчас из парикмахерской, в штанах колоколами, в толстых пестрых шарфах и в цветистых кепках, сделанных из одеял.

За трупами, подсакивая на бульжниках, торчащих из укатанной дороги, с грохотом являлась наконец телега, и тогда гуляющие около мертвецкой устремлялись к ямам на песках за кладбищем.

Они присутствовали при разгрузке дрог и, дав им удалиться, обдирали мертвых.

Шурка и Егорка тоже бегали туда и, прячась за сосновыми кустами, издали подсматривали, пока все не расходилось и собаки, отступившие немного, когда собрался народ, не возвращались к ямам.

-- Черт возьми, -- завидовали Шурка и Егорка, выбираясь по снегу из-за своих кустов и глядя вслед ворам, маршировавшим впереди с добычей.

Чем мы виноваты, что еще так молоды? -- ронтали они и, чтобы отвасчь себя от этих горьких мыслей, совещались, как убить кого-нибудь. Тогда бы они сняли с него все.

Однажды они были в клубе и смотрели представление «Для нас весна прошла». Оно растрогало их, и не раз они украдкой отворачивались друг от друга и снимали пальцем набегавшие им на глаза слезинки.

А когда мужчина в черной бороде и в красном вязаном платке на шею объявил, что будет гастролировать сегодня без суфлера, наклонился, чиркнул спичкой, с двух сторон поджег костер, разложенный на жестяном листе, и, уклоняясь от поднявшегося дыма, стал произносить стихотворение «Разбойники», они взглянули друг на друга и пожали друг другу руки.

Наконец, сатирики Дум-Дум и Эва-Эва страшно насмешили их, и они долго хохотали, встав с места, и кричали «бис».

Хваля программу и жалея, что уже все кончено, они пошли к дверям.

-- Эх, здорово участвовали, курицыны дети, -- восхищаясь Шурка, оборачивался и, подняв лицо, заглядывал в глаза толкавшимся вокруг него красноармейцам, железнодорожникам и девкам.

Вдруг Егорка тронул его за руку и подмигнул ему на пьяного, который был один.

Они пошли за ним в какой-то переулок между огородами. Снег под ногами взвизгивал. Луна светила. Тени от пастей и от торчавшей кое-где ботвы лежали на снегу.

Пройдя пешного, пьяный вдруг остановился, растопырил руки, рухнул и остался лежать молча и не двигаясь.

Тогда они приблизились к нему, послушали и, оглянувшись, встали на колени и разули его.

Они сняли с него башмаки и новенькие серые обмотки. Шапка у него была дрянная, а шинель была надета в рукава и подпоясана.

В карманах ее ничего не оказалось, и Егорка напихал в них снегу. Шурка посмеялся.

-- Убивать не будем? -- глядя на Егорку снизу вверх, спросил он.

-- Нет, -- сказал Егорка, -- не из-за чего, -- и Шурка согласился с ним.

У дома они прежде, чем припрятать башмаки в сарае, подошли к окошку и при свете пригляделись рассматривать их. К ним подкрался Ванька, страшно наорал на них и дал им по пощечине, а башмаки забрал себе.

К Авдотье один раз зашел дед Мандриков. Она еще лежала. Он присел возле нее.

— Вот, видите, в каком я состоянии,— сказала она и поплакала немного.

Дед уже в утешение напомнил ей, что кого бог полюбит, того он обыкновенно принимается испытывать.

Тогда она ответила ему, что мало удовольствия от такой любви, и он тихонько посмеялся в бороду.

— А данную Диеспериху,— понегодовал он,— за ее халатность следовало бы поставить к стенке.

— Ах,— сказала ему тут и с благодарностью взглянула на него Авдотья: — Поднести вам нечего,— а он приятно улыбнулся и ответил, что и так доволен.

После этого он рассказал ей новости. Он рассказал ей, что разграблена канатчиковская усадьба, где она жила когда-то, когда муж ее служил там писарем.

— Неужели? — оживилась она и приподнялась. Она расспрашивала обо всех подробностях.

— Что я себе взяла бы там,— сказала она,— это шкаф с зеркальными дверями и рояль.

Пока они беседовали, Шурка соображал, что можно было бы снять с Мандрикова, если бы его убить.

Он делал это теперь с каждым, кто ему встречался. Иногда он шел за кем-нибудь, одетым в новенькую кожаную куртку или в изношенные сапоги, пока тот не входил в какую-нибудь дверь и окончательно за ней не оставался.

— Не судьба, должно быть,— думал он тогда.

Однажды, когда он стоял у поезда и кланчил милостыньку, человек в ушастой шапке с сереньким барашком и в шинели подошел к нему, дал колчаковскую десятку и спросил его, не знает ли он места, где бы можно было временно пристроить заболевшую в дороге женщину с вещами.

— Да,— ответил Шурка, просияв,— я знаю. Есть такое дело. Много ли вещичек? — и не стал отказываться от негодных денег. Мило разговаривая, он повел солдата.

— Вот сюда,— сказал он, заходя в свой двор, и в кухне, засветив лучину, показал солдату стены и кровать с двумя кувшинами и львом, изображенным на спинке.

Он уговорил Авдотью выпустить эту женщину, и к вечеру она была водворена.

Вещичек с нею оказалось две: большой сундук и ящичек. Почти все время у нее был жар, она лежала тихо, и больших хлопот с ней не было.

Солдат являясь иногда, смотрел, жива ли она, отпирал сундук и, сунув что-нибудь себе за пазуху, скрывался.

Про него рассказывали, что он шляется по деревням и кутит там с бабенками. Он мог растащить все добчиста, и чтобы вещи были целы, нужно было поскорей убить его. Все дни и ночи Шурка думал, каким образом устроить это, и не мог придумать.

Тонкой печек, пока мать болела, ведала Маришка. Это дело очень увлекало ее, и она без устали подкладывала в печь полешко за полешком и нажаривала ее точно в бане. К тому времени, когда Авдотья наконец поправилась и встала, дров в сарае уже не было.

Литовка, завернувшая взглянуть, что делается в доме, покачала головой, подумала и обещала как-нибудь уладить это. Ее муж от времени до времени, когда он должен был отправиться на паровозе ночью, стал предупреждать, что между третьей и четвертой верстами он сбросит пять-шесть плах.

Взяв санки и Лешку, Шурка до рассвета выходил туда. Пустые санки грохотали в тишине, и приходилось взваливать их на спину или нести вдвоем в руках.

Однажды, подобрав три плахи, Шурка приказал Лешке караулить их, а сам пошел по шалаам посмотреть, не сбросил ли литовкин муж еще чего-нибудь.

Луна, которая светила до сих пор сквозь тучу, выплыла из-за нее, и сразу сделалось виднее. Прутья кустиков по сторонам дорожки, которая пересекала рельсы, стали красными. За ними на снегу лежало что-то серое, похожее на человека, и, оставив санки, Шурка побежал туда.

Приблизясь, он стал красться, пригибаться и идти не поднимая ног, чтобы под ними как-нибудь не скрипнуло. С тропинки, чтобы быть еще бесшумней, он сошел, и в валенки его набился снег.

Лежавший человек не двигался. Он был одет в шинель, и ноги у него были подкорчены, точно он спал в вагоне на короткой лавке. Шанки на нем не было. Она валялась на дороге. Голову он прикрывал руками.

Это был солдат, который поместил больную у них в доме и проматывал ее пожитки.

— Дяденька, — ударил его Шурка носком валенка по каблуку с подковой, вскрикнул и помчался прочь, схватившись за голову, как Маришка, когда дед, которого она хотела разбудить, вдруг оказался мертвым.

Снова очутившись на рельсах, он остановился, чтобы его сердце стало биться медленней.

— Вещички, — просяив, сказал он, — теперь наши.

Вечером солдата привезли во двор к ним, и Авдотья вышла на крыльцо.

— Вот, можете похоронить, — сказал ей возчик. — Протокол уже составлен. Ваш жилец замерз. Был малость выпивши.

— Он здесь не проживал, — ответила Авдотья и не приняла его.

Умерла больная незаметно, ночью, так что беспокойства никакого не было. Авдотья, чтобы отвезти ее на кладбище, хотела попросить у Ваньки мерина и сани. Шурка же сказал ей, что не стоит связываться с Ванькой: сунет нос в вещички, и тогда с ним будет не разделаться.

— И правда, — согласилась мать. — А гроб кого попросим сделать? — встрепетнулась она: — Может, Аверьян сколотит?

— Да, — ответил Шурка и сам сбегал к Аверьяну.

— Ладно, — сказал он и вечером явился с инструментами.

Он сделал гроб из досок, оторванных от сеновала, и из планок от щитов, которые были расставлены вдоль «ветки», чтобы защищать ее от снега. Шурка натаскал их, когда не было луны на небе.

Подметя, Авдотья бросила в печь стружки. Аверьян помог ей уложить жилицу в сделанный им гроб и вытер руки о штаны.

— Ну, очень вам обязана, — сказала ему, вежливо раскланиваясь с ним, Авдотья, когда он надел пальто и шапку.

— Не за что, — ответил он. — Я столько лет жил в вашем доме, и вы были мне как мать.

— Ах, что вы, — возразила она.

Утром, приведя с базара мужика с дровнями и поставив на них гроб, она пошла за ним с детьми, торжественная, и похоронила свою мертвую жилицу без попов.

— Не знаю, — говорила она встречным, — по какой религии она была прописана.

С холстом и с пестренькими ситчиками, оказавшимися в сундуке жилицы и в ее зеленом ящичке, Авдотья принялась опять за дело.

Мужики ей навозили дров. Муки она купила у Суконкина. Он торговал теперь без вывески и отпускал товар у себя в кухне. Иногда дверь в комнату была полуоткрыта, и Авдотья видела в щель Ольгу, вытирающую тряпкой стулья или шьющую, надев очки, или читающую книгу.

Ольге было восемнадцать лет, она была бесцветная, беловолосая и тощая, и, глядя на нее, Авдотья усмехалась.

Она снова пекла хлеб и пироги и продавала их на станции, а Шурка помогал ей. Поезда ходили не по расписанию, и они сидели

с утра до ночи и ждали. Вдруг являлся воинский, товар весь раскупали, и тогда Авдотья отправляла Шурку притащить еще.

С Егоркой он теперь встречался редко, и ему не так хотелось теперь сделаться разбойником, как стать хорошим спекулянтom или перевозчиком и продавцом беспoшлинного заграничного товара: все хвалили это дело и считали, что оно уж очень прибыльное.

Его шуба, сшитая когда-то Александрычем, была ему уже мала, и из брезента, оказавшегося в сундуке жилицы, ему сделали пальто с запасом на подоле и на рукавах, чтобы под осень, если будет нужно, можно было удлинить его.

Авдотьины приятельницы уверяли Шурку, что пальто это ему очень к лицу, и говорили ему всякие любезности, а он молодцевато взглядывал на них.

Под благовещенье был день его рождения, ему кончалось девять лет, и в доме была выпивка. Явившиеся гости поздравляли его, пили за его здоровье и тормошили его. Он им говорил:

— Пошли вы! — и, освобождаясь от них, подмигивал им.

Скоро все разговорились, стали похвастаться и рассказывать, как здорово им иногда везло. Тут Шурка вызвал мать из «зала» и предупредил ее, чтобы она помакивала насчет случая с вещичками.

Две гостьи, одна низенькая, а другая дылда с крошечной физиономией и постным видом, вдруг переглянулись. Они жили на другом конце поселка, пришли вместе и сидели рядом. Они вспомнили, как летом, года этак два назад, казаки изрубили на Мамонином поле семьдесят мадьяр из пленников. Мадьяры эти здесь квартировали, а работали в Кашкинских. Все скопом они шли домой с работы — и такая вдруг история случилась.

Низенькая с скромными ужимками рассказывала, а верзила на всех взглядывала и кивала.

— Всякий, кто успел узнать об этом, поспешил туда, и очень поживились тогда те, кто посильней. Мы сами, хоть уже и старенькие, а вернулись с тремя парами сапог и с разными вещами из карманов — кошелечками и часиками.

— Счастье ваше, что вы тамошние, — стали говорить им слушательницы. — А наш конец глухой, и все у нас проходит мимо, по усам течет, а в рот не попадает.

Тут заблаговестили, и все перекрестились, а Авдотья, приподняв бутылку, показала ее гостям.

— Ладно, дорогие мои дамочки, — сказала она, — что там? Всех кусков не схватишь. Бросим горевать, хлебом еще разочек и пойдём ко всеношной.

Ее дела в то время удавались ей. Она была довольна и всегда сияла. Она сшила себе новенькое платье с голубыми птичками и сделала хорошенькую кофту из шинели. Всех своих детей она одела и обула.

— Прав ты был,— растроганная, говорила она Шурке, — что привел тогда к нам эту женщину. Теперь нас бог вознаграждает за нее, за то, что мы ее призрели у себя.

Все чаще между тем стало случаться, что, являсь к Суконкину, она не заставляла у него товара. Приходилось отправляться к железнодорожникам, разноухивать, кто ездил за съестным, бросаться к нему, становиться в хвост и возвращаться зачастую с тем, с чем и пришла,— другие успевали узнать раньше и примчаться первыми.

Авдотья вспоминала теперь, как когда-то Аверьяну принесли письмо от Ольги. Если б он не пофорсил тогда, то через Ольгу можно было бы всегда осведомляться, нет ли у Суконкина чего-нибудь в продаже.

Скоро ничего уже нельзя было найти такого, чем бы можно было торговать. Жизнь у Авдотьи в домике опять пошла неважная, харчей стало в обрез, и Шурка пораздумал и решил, что нужно снова идти в жулики.

Уже было тепло, но чтобы быть солидней, он надел свое брезентовое новое пальто. Он в нем пошел к Егорке, чтобы переговорить с ним, но его не оказалось дома. У него был тиф, и он лежал в больнице. Через полторы недели он там умер.

Один раз Авдотья, выйдя на канаву к козам, встретила с Василием Ивановичем, земледельцем, и, разговорясь с ним, стала плакаться, а он ей предложил взять Шурку поливать огурчики на хуторе и ездить с лошадьми в ночное.

— Он при нас харчиться будет,— увлекательно сказал он,— и у вас одним ртом меньше станет.

Тут же он зашел за Шуркой, и, припрыгивая, чтобы не отстать от него, Шурка по дороге рассказал ему, какие из сельскохозяйственных работ он делал у Евграфыча.

Калитку им открыла земледельцева жена и сразу же послала Шурку натаскать соломы из соседских крыш. Три курицы квохтали, и она хотела посадить их. Люди же советовали ей, чтобы подстилка была краденая.

Шурка сказал «есть такое», сделал ей под козырек и через несколько минут примчался с ворохом соломы. Чалый был уже впряжен. Василий вынес Шурке квасу и пирог со свеклой и, когда он выпил, отворил ворота и повез его на хутор.

Там он его отдал под начало Гришке, своему племяннику, и Гришка показал ему, что делать.

Правая нога у Гришки была порченая, он хромотал, и Шурка знал, что это доктор Марьин, когда началась война, устроил ему это.

Хутор доходил до речки Генераловки, и воду для поливки гряд накачивала лошадь. Она бегала по кругу и вертела колесо. Ковши

черпали воду, лили в большой жолоб, и оттуда она шла по маленьким. В них были дырки и затычки. Можно было вынимать их и, подставя лейку, наполнять ее и не ходить далеко. Шурке это интересное устройство так понравилось, что он захохотал, когда увидел его.

Гришка был большой любитель музыки и вечером после работы, сидя на крыльце барака, жалостно играл виотьмах на балалайке, а потом рассказывал, как здорово один американец отвечал своей невесте на ее упреки, или задавал загадки, а когда их кто-нибудь отгадывал, то Гришка опечаливался и на время замолкал, брал снова балалайку и побренькивал, насупясь.

Шурка скоро подружился с ним и стал с ним обращаться покровительственно, он же, когда сам Василий не присматривал за ними, давал Шурке пожевать чего-нибудь сверх нормы и не очень донимал его работой.

Перед праздниками Шурка ездил с ним домой. Телега погромыхивала. Ноги, свешенные вниз, покачивались. Около дороги стоял лес. Попахивало свежими березовыми вениками.

Пешеходы, перекинув башмаки через плечо, шли сбоку по тропинке. Шурка их оглядывал, прикидывая, что с них можно снять, если убить их.

Гришка то молчал, то оживлялся вдруг и спрашивал, что больше весит — пуд железа или пуд муки, или какая лошадь, прийдя с луга, больше принесет травинок на спине — с хвостом или бесхвостая, и Шурка отвечал ему, что больше весит пуд железа и что лошадь больше принесет травы бесхвостая: когда ее кусают мухи, ей приходится сгонять их мордой, и из той травы, которую она жует при этом, несколько травинок остается на ее спине.

Обратно они ехали с зарезанной на ужин курицей учительницы Щербовой, которая жила бок о бок с земледельцем, и когда они пускались в путь, им было слышно иногда, как Щербова разыскивает ее, бегаёт по переулку и выкрикивает:

— Пыри-пыри!

И тогда они смеялись и подмигивали в ее сторону и делали увеселительные жесты.

Уже лето почти все прошло. Уже копали понемногу и возили на базар картошку. Шурку иногда пускали с возом одного, без Гришки, и тогда он останавливался перед своим домиком, Авдотья выходила с ведрами, и он ей насыпал в них.

Один раз, когда под вечер он спинал мешки, развешенные для просушки перед окнами барака, подкатил Василий и, с кнутом в руке, слезая с дрожек, крикнул ему:

— Твой отец приехал.

Шурка бросил все и побежал.

— На огурчики я, — говорил он доробой, — поставлю теперь крест с прибором.

Темнело. Дорога пошла через лес. Там был мрак, точно ночью, и, может быть, были разбойники. Шурка не думал о них. Он бежал, останавливался на минутку, чтобы отдышаться, и снова бежал.

Наконец впереди посветлело немного, лес кончился, и перед Шуркой открылось то поле, за которым стоял его дом. Огонька в доме не было.

Шурке, когда он постучался, открыла Авдотья.

— Приехал? — спросил он и бросился в дом. Человек на кровати со львом и кувшинчиками совал ноги в штаны. Он вскочил, подтянул штаны кверху, Авдотья взяла Шурку за руку и подвела к нему.

— Вот он, — сказала она, — старший сын. Поздоровайся с ним. Пока ты окопачивался невесть где, он был в доме хозяином, и без него я пропала бы.

— Ну, здравствуй, что ли, — сказал тогда Шурке отец и шагнул к нему.

Шурка ответил:

— Ну, здравствуй, — пожал ему руку и сел на скамейку.

Отец был похож на Евграфыча и на солдат — Петьку с Ванькой, но был ниже ростом и шире; и нос у него был короче, а под носом у него были красно-коричневые тараканы усы. Он одет был в солдатское.

— Что же, — сказал он, — по-моему, ночь, — и они улеглись.

Утром Шурка узнал, что отец привез сала и три пуда муки. Затопили печь. Мать стала жарить лепешки. Отец подтащил к ней колоду и сел возле печки. Авдотья его не гнала, хотя он ей мешал. Он сидел, зажав руки коленями, двигал своими усищами и не сводил с нее глаз.

Две недели была суматоха. Приехала бабка Гребенщикова с сыновьями. Она привезла муки, сала и вышивки. Поговорили о том, почему отец Шурки так долго не ехал, о деде Евграфыче, деде Матвее и бабке.

— Диеспериху, — сказал Шурка, — за то, что разводит на улицах лужи, по-правильному, пужно было бы к стенке, — и все согласился с ним.

Начали нить и закусывать. Скоро мужчины, сняв ремни, надели их через плечо, сели вольно и стали покуривать.

Петр пустил дым кольцом, посмотрел на него и сказал:

— Один раз мы стояли в резерве, а он тут как тут.

Все придвинулись ближе. До позднего вечера братья рассказывали интересные случаи, происходившие с ними во время войны.

Петька с Ванькой теперь не пахали, скот продали и поступили на службу. Они взяли отпуск по случаю того, что вернулся их брат, пропадавший шесть лет.

Скоро начали делать визиты родным. Побывали у Ваньки Акимочкина, у литовки. Потом у себя принимали их. Были на кладбище. Там поклонились могилам, взглянули на обновившийся в прошлом году образочек и поудивлялись.

Потом все три брата отправились к тетке-просвирне, вернулись, и гости уехали. Скоро должна была быть однодневная перепись,⁵ и им хотелось в день переписи быть на месте.

— Как здорово вышло, — сказал отец Шурки, — что я подоспел как раз к переписи. Теперь буду записан с семьей.

— И действительно, — стали дивиться все. Шурка порадовался, что не будет записан на хуторе, при огурцах; а Акимочкин мрачно сказал:

— После переписи вы поймете, зачем она делается.

Переписывала эту улицу Щёрбова.

— Вот к вам и я, — объявила она, входя в кухню, и предупредила, что ела чеснок. Она села с листками за столик. У каждого она между прочим расспрашивала о профессии, национальности и о родном языке.

— По родным языком, — разъясняла при этом она, — понимается тот, в котором опрашиваемый обычно говорит с своей матерью.

— Мы, — сказал Шуркин отец, — извините, но все одной нации и говорим на одном языке.

— Не учите меня, — попросила она и прищурилась.

Шурка смотрел на нее и побаивался, что она его спросит, не он ли крад кур у нее этим летом, но Щёрбова, глядя в листки, записала еще кое-что о печах и надворных постройках, сложила бумажки, простилась и двинулась к главному.

Скоро опять Шурка начал учиться. Отец поступил в сельсовет на поселке при сахарном. Кроме того, он писал заявления для тех людей, у которых во время гражданской войны было что-нибудь забрано и им хотелось теперь получить возмещение, и за труды брал натурой. Он был теперь в доме хозяин, Авдотья обо всем с ним советовалась и возилась с ним так, что смешно было видеть, а Шурке теперь от нее был такой же почет, как Маришке с Алешкой, которым она столько лет говорила, что Шурка для них — как отец.

— Ничего себе, — думал он, — здорово.

Ученики его класса дрались с другим классом и всюду носили с собою резинки, к которым привязаны были железные гайки. Они дрались в школе и вечером, встретясь на улице, снова дрались.

Шурка был постоянно избит и ходил в синяках и подтеках. Запаса из новенького пальтеца не пришлось выпускать, потому что за осень пальто изодрали в клоки.

Он не мог один выйти из дома и в школу ходил с двумя братьями Проничевыми, которые жили поблизости и заходили за ним. Они были приезжие из Генераловки, а Генераловка славилась драками. Там выходили «конец» на «конец» и дрались кулаками, а потом кистенями и ножиками. Братья Проничевы наострились там, и их боялись, но скоро они заболели «испанкой» и умерли.

В первый же день, когда Шурка пошел без них в школу, орава мальчишек с резинками подстергла его за домом Щербовой. Он не отбился бы, если бы не Аверьян.

Аверьян шел на станцию. Он разогнал их и сдал Шурку Кольке, пятнадцатилетнему малому, родственнику жены Ваньки Акимочкина, аверьяновой матеши.

Колька был такой же большой, как она, черномазый, плечистый, лицо его было такое же невыразительное. Он им встретился около станции. Он шел согнувшись и нес на спине пуд муки, а в руке белую корзину. В ней были мешочки, бутыл, вобла, мясо, махорка: Акимочкины посылали его в железнодорожную лавку за выдачей, так как у Нюрки, которая обыкновенно была на посылаках, был тиф.

— Подойди-ка, — сказал Аверьян.

Тогда Колька поставил на землю корзину, спустил с плеча пуд и спросил:

— Ну, чего еще?

— Вот, — показал Аверьян, — доведи его до дому и заступись за него, если вдруг нападут злоумышленники.

— Я бы сам, — сказал Шурка, — разделался с ними, да их очень много.

Он взял колькин пуд и, взвалив на себя, пошел с Колькой.

— Мука — это что, — сказал он. — Хуже было бы, если бы это была не мука, а железо. А как ты считаешь, бесхвостая лошадь принесет с поля больше травинок у себя на спине или лошадь с хвостом?

Занеся к Ваньке выдачу и получив по щепотке махорки, они зашли к Кольке во двор.

— Показать тебе фокус? — отчистив пиджак от муки, спросил Колька, и Шурка ударил себя кулаком по ноге и сказал:

— Покажи.

Тогда Колька вошел к себе в дом, вынес корку, встал с ней у калитки, зазвал кобеля, пробежавшего мимо, и дал корку Шурке.

— Верти у него перед носом, — велел он, — а есть не давай. Занимай его, чтобы он не смотрел, что я делаю.

— Есть, — сказал Шурка и стал занимать кобеля. Тогда Колька придвинул колоду, подставил ее под хвост кобелю, взял топор, замахнулся и тяпнул. Кобель обернулся и взвизгнул два раза.

— Ой, смех, — крикнул Шурка и, изнемогая от хохота, лег.

Колька поднял отрубленный хвост и швырнул за забор. Он довел Шурку до дому. Шурка старался понравиться Кольке, солидно держал себя и рассказал, как работал с Егоркой.

— Ты мал, да востер, — сказал Колька. — Зайди как-нибудь.

Они стали вдвоем поворовывать. Колька не решался сбывать вещи здесь, и они продавали их или при сахарном, или на Серных водах.

Они съездили раз даже в город, но он не похож был на тот большой город, который когда-то понравился Шурке в вагоне-кино. Ни высоких домов, ни разбойников в автомобилях там не было.

— Вот бы в Самару попасть, — сказал Шурка. — Там, верно, не то, что здесь. Там даже было свое государство.

— И там побываем когда-нибудь, — пообещал ему Колька.

Когда Шурка прибыл из этой поездки домой, там все спали. Отец отворил ему дверь.

— Где ты шлялся? — спросил он. — Потом, почему ты не ходишь учиться? С Маришкой прислали записку.

— По-моему, ночь, — сказал Шурка, — и нечего нам здесь шуметь.

— Хорошо, посчитаемся завтра, — ответил отец.

— Хорошо, — сказал Шурка.

Он встал раньше всех, взял полхлеба и вышел. Была еще ночь. Тарахтела «кукушка». Ее огоньки подвигались впотьмах в направлении к сахарному. Кобели прикурнули под утро в своих конурах и не лаяли. Улицы были пустынные.

Когда рассвело и к колодуам пошли бабы с ведрами, Шурка вошел во двор к Кольке и вызвал его.

Колька вышел, зевая.

— Чего? — спросил он.

— Уезжаю, — сказал ему Шурка. — В Самару.

— Зачем?

— Как зачем? — спросил Шурка. — Известно зачем: жить, разбойничать.

— Ладно, катись, — сказал Колька. — Разбойничай. Нас не забудь.

— Ну, прощай, — протянул Шурка руку. — Выходит, я еду один.

— А то с кем же?

— Конечно, — сказал тогда Шурка.

На станции он залез в незакрытый товарный вагон, на котором написано было «Самара», достал из кармана коробку со спичками и присмотрел себе угол почище. Он сел там и стал дожидаться, когда пойдет поезд.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Т. е. денатурага.

² Усач — речная рыба из семейства карповых.

³ День усекновения главы Иоанна-Крестителя (Предтечи) отмечается церковью 29 августа.

⁴ Имеется в виду библейская легенда об Иосифе, которого безуспешно пыталась соблазнить жена Пентефрия (Бытие, XXXVII, 36; XXXI, 1).

⁵ Однодневная перепишь проводилась в августе 1920 г.